

Антуан де Сент-Экзюпери

ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ

Антуан де Сент-Экзюпери ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ

XX ВЕК

Земля людей

Антуан де Сент-Экзюпери

Аннотация
Антуан де Сент-Экзюпери. ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
ПРЕДИСЛОВИЕ
НОЧНОЙ ПОЛЕТ
ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
I. Линия
II. Товарищи
III. Самолет
IV. Самолет и планета
V. Оазис
VI. В пустыне
VII. В сердце пустыни
VIII. Люди
INFO

Аннотация

Издательская аннотация отсутствует.

____

Книги Сент-Экзюпери, написанные им в тридцатые годы, — «Ночной полет» (1931) и «Земля людей» (1939) — утверждают самые высокие человеческие качества.

В «Ночном полете» летчик — «человек действия» — вынужден добровольно отречься от мира простых чувств, от домашнего уюта, непритязательного человеческого счастья.

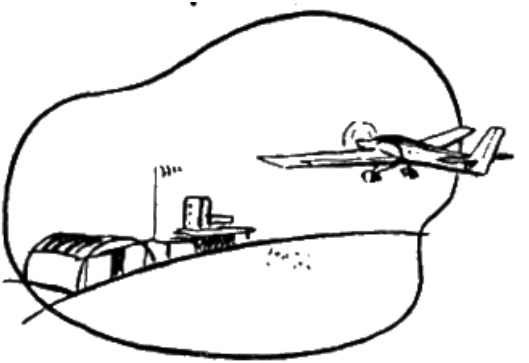
В «Земле людей» автор утверждает, что только действенная, активная, полная опасностей и борьбы жизнь дает людям настоящее счастье.

Из сети



Антуан де Сент-Экзюпери

ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1957

*

Antoine de Salnt-Exupéry
TERRE DES HOMMES

Перевод с французского
под общей редакцией Е. Зониной

Оформление художника Д. Бисти

М., Государственное издательство
художественной литературы, 1957

ПРЕДИСЛОВИЕ

Творчество Антуана де Сент-Экзюпери — яркое и своеобразное явление во французской литературе нашего века. Книги этого писателя проникнуты ощущением свежего ветра и бескрайних просторов. Они воспевают смелость и скромность, славят величие подвига и поэзию бескорыстной дружбы; это подлинная романтика — романтика повседневного труда пилотов, осваивающих новые воздушные дороги во имя счастья людей.

Герои книг Сент-Экзюпери — летчики почтовой авиации — немалую часть своей жизни проводят у штурвала самолета; автор открывает читателю небо. Но эти книги говорят не о небе, а о земле и о живущих на ней людях — о «земле людей».

«Пилот почтовой линии усмиряет своей мускулистой рукой воздушные вихри; это — каторжный труд. Но, сражаясь со стихиями, пилот содействует укреплению человеческих связей, он служит людям. Сила этой руки сближает людей, которые любят и ищут друг друга. Значит, пилот тоже вступает во всемирное братство. И даже

простой пастух, который пасет свое стадо под звездным небом, даже он, осознав свою роль, обнаруживает, что он не только пастух. Он часовой. А каждый часовой отвечает за Вселенную». Так писал Сент-Экзюпери в одной из своих статей.

Повести Сент-Экзюпери образуют редкий сплав репортажа и лирики, увлекательного повествования о приключениях летчиков н глубокого философского раздумья о месте человека на земле.

Каждое слово в книгах Антуана де Сент-Экзюпери приобретает особую весомость, когда думаешь о благородном облике их автора, о том единстве слова и дела, которым отмечена вся его жизнь.

Антуан де Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900 года в Лионе, в семье страхового инспектора, графа Жана де Сент-Экзюпери. У маленького Тонио рано проявляется то разнообразие интересов и способностей, которое он сохранил на всю жизнь. Он неистощим в выдумках, любит шумные игры со сверстниками, дальние прогулки, импровизированные маскарады. Но в то же время мальчик может часами неподвижно сидеть в комнате и, глядя на пламя в камине, о чем-то мечтать, переносясь в мир сказок и грез. Тонио рано начинает писать стихи, не по-детски

грустные и раздумчивые; он прекрасно рисует, учится играть на скрипке, но самая большая его страсть — машины, техника. Он что-то изобретает, мастерит телефон из жестяных банок и мечтает о настоящих машинах. С одной из таких машин он познакомился уже в шестилетнем возрасте. Во время поездки по железной дороге мальчик подошел па станции к машинисту, который вел их поезд; машинист оказался тезкой юного пассажира, и, воспользовавшись этим, маленький Антуан упросил большого Антуана прокатить его на паровозе. На следующий день мальчик по памяти набросал довольно точную схему устройства локомотива.

В 1910 году Антуана отдают в иезуитский колледж в городе Ман. К счастью, мальчик учится на положении экстерна и возвращается каждый вечер домой. Учится он неровно и ведет себя не всегда благонравно, получая средние и даже низшие баллы за прилежание, вежливость, опрятность... А возвращаясь домой, он тайком переводит с латыни книгу Цезаря «О галльской войне», стремясь понять, как действовали военные машины древних римлян.

В двенадцать лет Сент-Экзюпери получает свое первое воздушное крещение: известный в то

время французский летчик Вед-рйн поднимает его в небо над аэродромом города Амберье. С той поры Антуан грезит авиацией.

Начинается первая мировая война. Антуан продолжает свое ученье в Швейцарии. В 1917 году он возвращается во Францию. Среднее образование Сент-Экзюпери завершает в Париже. В 1919 году он поступает в Школу изящных искусств по отделению архитектуры, но томится, не видя в архитектуре своего призвания.

Эта полоса юношеских сомнений завершается в 1921 году. Сент-Экзюпери призван в армию; он — солдат второго авиационного истребительного полка. Вначале он работает в мастерских, ремонтирует самолеты, затем начинаются занятия по пилотированию. Первый самостоятельный полет едва не стоил юноше жизни: не дожидаясь прихода запоздавшего инструктора, нетерпеливый ученик самовольно поднялся в воздух один, но, когда наступило время идти на посадку, обнаружил, что машина почему-то перестала слушаться. Антуан начал кружить над аэродромом, и в это время загорелся мотор. Рассудив, что все же лучше попытаться сесть, чем заживо сгореть в воздухе, он каким-то чудом посадил самолет, отделавшись ушибами и выговором от

начальства…

Сент-Экзюпери твердо решает стать летчиком. Но срок военной службы заканчивается, и молодой человек, уверовавший в свое авиационное призвание, вынужден поступить служащим на черепичный завод; работает он некоторое время и агентом по продаже автомобилей. Лишь в 1926 году, после долгих хлопот, сбывается его мечта. Антуан де Сент-Экзюпери принят на службу в авиакомпанию Латекоэр.

Начинается жизнь, полная опасностей и новых впечатлений. Под руководством Дидье Дора́ (прототип Ривьера, героя романа «Ночной полет»), директора авиалиний, молодой летчик прокладывает новые трассы, осваивает новые машины. Потом — Испанское Марокко, городок Кап-Джуби, где Сент-Экзюпери становится начальником аэродрома. Огромная организационная работа, полеты — и досуг, тоже заполненный трудом: техническое усовершенствование самолетов, разработка некоторых теоретических вопросов, литературное творчество. После полутора лет работы в Кап-Джуби Сент-Экзюпери возвращается во Францию, чтобы пройти в Бресте курс пилотирования гидросамолетов. Он привозит с собой свою первую книгу — повесть «Южная

почта»; в конце 1928 года книга выходит в свет в парижском издательстве Галлимара. Повесть раскрывает переживания летчиков, прославляет «людей действия», их работу на почтовой трассе Тулуза — Южная Америка. Здесь уже намечены многие основные темы творчества Сент-Экзюпери, видны стилистические черты, характерные для его последующих произведений. Автор старается убедить читателя в суровой обыденности того, что принято окружать ореолом героического. Читатели повести увидели в героях Сент-Экзюпери людей трудной профессии, для которых мужество несовместимо с позой; для них оскорбительны разговоры о «вкусе к риску» — каждый день они рискуют своей жизнью, потому что этого требует от них профессия. Язык повести суров и лаконичен — но не сух, а внутренне взволнован; неожиданные ассоциации, свежие метафоры, поражающие своей глубиной афоризмы воспринимались не как дань литературным требованиям, а как органичный для художника взгляд на вещи, как стремление воздействовать на читателя с наибольшей силой, взволнованно и убежденно. В литературу входил новый оригинальный талант.

В октябре 1929 года Сент-Экзюпери получает

новое назначение. Он едет в Аргентину, где становится директором воздушных линий французской компании «Аэропоста — Аргентина». Снова — борьба за своевременную доставку почты и грузов, за безопасность полетов над огромным южноамериканским континентом, за слаженную работу десятков аэродромов. Сент-Экзюпери редко можно застать в Буэнос-Айресе, в служебном кабинете. Прежде всего он — пилот, он сам осваивает маршруты, по которым его товарищи поведут самолеты. В ту эпоху развития авиации каждый полет становился открытием новых горизонтов, своеобразным рекордом человеческого мастерства и мужества. Сент-Экзюпери отдает себя целиком работе, в которой видит не только службу интересам авиационной фирмы, но службу интересам человеческого прогресса. Авиация для него — одно из самых действенных средств познания мира, воспитания ценных человеческих качеств, укрепления дружбы между людьми и странами. За каждым фактом— жизненным и литературным, за каждым подвигом пилота он видит большой гуманистический смысл. «Главное? Вероятно, главное — это не только великая радость нашего ремесла и не только связанные с нашим ремеслом невзгоды; главное — тот взгляд

на жизнь, до которого возвышают эти радости и невзгоды», — писал Сент-Экзюпери в 1933 году.

…Когда в 1930 году летчик Анри Гийоме попал в снежную бурю над Кордильерами и не вернулся на базу, Сент-Экзюпери вылетел на поиски своего друга. История чудесного спасения Гийоме составляет одну из лучших глав книги «Земля людей». Присутствовавшие при этой встрече друзья рассказали впоследствии о первых словах, которыми спасенный обменялся со спасителем.

— Я тебя видел, а ты меня — нет… — сказал Гийоме, обращаясь к Сент-Экзюпери.

— Как же ты мог знать, что это был я?

— Никто, кроме тебя, не отважился бы лететь так низко…

В последние дни 1935 года Сент-Экзюпери вместе с механиком Прево отправляется в перелет по маршруту Париж — Сайгон. Самолет терпит аварию в ливийской пустыне. Из этого полета, едва не кончившегося для него смертью, Сент-Экзюпери вынес впечатления, которые легли в основу захватывающих страниц книги «Земля людей». Другой перелет — в феврале 1938 года по маршруту Нью-Йорк — Огненная земля, тоже кончился неудачей. Машина Сент-Экзюпери разбилась в Гватемале. В течение восьми суток летчик не

приходил в сознание: он получил тяжелые ранения, несколько переломов черепных костей, сотрясение мозга. Долгие месяцы проводит он в больнице, используя это время для работы над новыми книгами.

В 1931 году Сент-Экзюпери получает литературную премию за вышедшую в том же году повесть «Ночной полет». Книга хорошо встречена читателями и критикой. Ее переводят на многие языки. Итальянский композитор Луиджи Деллапикола создает оперу «Ночной полет».

К середине тридцатых годов к Антуану де Сент-Экзюпери приходит большая литературная слава.

Писатель полон новых творческих планов. Он пишет несколько киносценариев, руководит съемками фильма по своей повести «Южная почта». В многочисленных газетных репортажах проявляется его талант журналиста. Весной 1935 года Сент-Экзюпери едет на несколько дней в Советский Союз и публикует цикл очерков о Москве в парижской газете «Пари-Суар». Эти страницы газетного репортажа свидетельствуют о внимательном и доброжелательном отношении писателя к новой для него социальной действительности.

Его очерки о гражданской войне в Испании, куда он был послан в качестве корреспондента от газет «Энтрансижан» и «Пари-Суар», проникнуты тревогой за судьбы мира в Европе.

Отметим, однако, что Сент-Экзюпери как в своих книгах, так и в газетных статьях и очерках подходит к социальным и политическим проблемам с критериями нравственного порядка, которые он пытается противопоставить всем и всяким политическим программам и партиям. Ему кажется, что «идеологические споры убивают надежду на спасение людей». Он относится с отвращением к фашизму, к расовой дискриминации, к агрессивной войне, но, по его мнению, все беды в мире происходят лишь оттого, что человек утратил значительные духовные ценности, которыми он обладал прежде, — и задача состоит в том, чтобы эти ценности ему вернуть. Такая концепция, в своей основе гуманистическая, бессильна, однако, изменить современную буржуазную действительность. Стремление Сент-Экзюпери отгородиться от политики грозило обречь его мысль на скольжение по замкнутому кругу абстракций и горьких размышлений.

Но как только писатель обращался в своем творчестве к конкретной действительности, к жизни

людей, к изображению их труда, мыслей и чувств — его гуманистические воззрения наполнялись плотью и кровью и придавали неповторимую взволнованность образам «людей неба», которые так любят «землю людей». И тогда оказывалось, что писатель отнюдь не безразличен к «идеологическим спорам» и что его гуманизм имеет явно демократическую направленность.

Книги Сент-Экзюпери, написанные им в тридцатые годы, — «Ночной полет» (1931) и «Земля людей» (1939): — утверждают высокие человеческие качества. Сильные огромной убежденностью писателя, эти книги показывают, как несправедливо устроено буржуазное общество, в котором перед человеком закрыта возможность проявить себя человеком. В полунищем ребенке — сыне безработного эмигранта — писатель видит загубленный талант, видит «спящего Моцарта». Ему по-настоящему больно за людей-роботов, обреченных проводить свои дни в бессмысленной трате мускульной и умственной энергии.

Но, видя все это, Сент-Экзюпери сохраняет веру в людей. Он убежден, что можно вырвать человека из трясины обывательского прозябания, придать жизни смысл, устремить силы людей на служение всему человечеству. Человек лишь

тогда станет снова творцом и гуманистом, когда, уйдя от уродующих «штамповальных прессов» буржуазной цивилизации, соприкоснется с первоосновой жизни — с простым и благородным трудом, дающим удовлетворение и приносящим мудрость. Таков труд крестьянина, кузнеца, пастуха, садовника, плотника. В том же ряду стоит для Сент-Экзюпери и труд пилота. Своеобразное толстовство сочетается у писателя с культом подлинного технического прогресса, который должен сделать человека не придатком машины, а творцом и повелителем могучих сил. Авиация — одно из прекрасных орудий; владея самолетом, как плотник топором, человек сближается с другими людьми и с природой. И сквозь эту утопическую мечту о своеобразной «республике» пилотов, людей великого братства, проглядывает мечта писателя об иных человеческих отношениях, о переустройстве мира.

В «Ночном полете» летчик — «человек действия» — вынужден добровольно отречься от мира простых чувств, от домашнего уюта и человеческого непритязательного счастья. В «Земле людей» проводится уже несколько иная мысль. Автор утверждает, что только действенная, активная, полная опасностей и борьбы жизнь дает

людям настоящее счастье, включающее в себя все большие и малые радости бытия.

Повести Сент-Экзюпери глубоки по мысли и вместе с тем по-настоящему поэтичны. Писатель видит поэзию там, где есть напряжение способностей, сил, таланта, ума. Поэзия — в созидании, в творческом труде человека. Настоящее творчество для Сент-Экзюпери — это прежде всего мысль. И подлинный физический труд неотделим для писателя от беспокойной мысли, проникающей в тайны жизни. Мысль, труд, творчество, ответственность каждого за судьбы всех — вот что поэтизирует в своих книгах писатель-гуманист.

Сложнейшие проблемы философского и этического плана тесно сплетаются у него со всей образной системой и облекаются в яркую и до прозрачности ясную художественную форму. Эпизоды сюжетные следуют за страницами авторских размышлений, своеобразные стихотворения в прозе чередуются с живыми диалогами, переданными простым разговорным языком, — и эти переходы так естественны, что вся книга воспринимается как непринужденный и взволнованный разговор с читателем о самых близких и сокровенных для автора вещах.

Увлекательно рассказывая о пережитом, Сент-Экзюпери стремится связать каждый из этих эпизодов со своим основным устремлением: поднять человека до творческого отношения к жизни, до созидания, до подвига, воспитать в нем чувство большой ответственности. Ибо писатель уверен, что подвиг может стать уделом каждого.

В июле 1939 года Антуан де Сент-Экзюпери вместе со своим другом Гийоме совершает на гидросамолете перелет через Атлантику. Он возвращается во Францию за несколько дней до начала второй мировой войны.

Сент-Экзюпери мобилизован, но по состоянию здоровья признан негодным к службе в авиации; его назначают инструктором. И только после долгой борьбы ему удается получить заключение медицинской комиссии, разрешающее ему летать. Капитан де Сент-Экзюпери — военный летчик. Он совершает многочисленные боевые вылеты, разведывает расположение войск противника. Летом 1940 года, в трагические дни военного поражения Франции, он на боевом посту. Приказ о демобилизации застает его часть в Северной Африке. Писатель вынужден покинуть оккупированную Францию; он эмигрирует в Америку.

В годы эмиграции Сент-Экзюпери создает произведения, в которые вкладывает заряд огромной силы — свою ненависть к врагу, свою веру в победу над фашизмом. Одно из этих произведений — повесть «Военный летчик» (1942).

Из кабины самолета перед автором развертывается картина поражения Франции; дорогая сердцу земля окутана дымом. Раздумья о судьбах родины, встречи с простыми людьми Франции, воспоминания о мирной жизни, злая ирония по адресу бездарных штабных начальников — все это сцементировано тревожной мыслью о будущем страны и человечества. Повесть говорит о борьбе и надежде. «Конечно, мы уже побеждены. Все — в неизвестности. Все рушится. Но я по-прежнему чувствую в себе спокойствие победителя… Мы ощущаем свою ответственность. Нельзя одновременно чувствовать свою ответственность — и пребывать в отчаянии».

Фашизм не может победить, потому что он враждебен человеку, говорит читателю книга «Военный летчик». Сент-Экзюпери утверждает непобедимость демократических сил, на чьей стороне — высокие духовные ценности. «Мы ощущаем теплоту человеческих связей. Вот почему мы уже — победители».

Книга «Военный летчик» впервые увидела свет в США, где она вышла в 1942 году на английском языке. Вскоре она была издана и в оккупированной Франции. Когда гитлеровская цензура спохватилась и запретила книгу, слова писателя-патриота уже нашли дорогу к тысячам людей.

В Америке же Сент-Экзюпери написал «Письмо к заложнику» и сказку «Маленький принц». В «Письме к заложнику» возникают сатирические образы живых мертвецов — буржуа-эмигрантов, бежавших из Франции на чужбину ради спасения своих капиталов. В лирическом ключе решена в «Письме» тема бескорыстной, согревающей сердце дружбы, — тема человеческой улыбки. На этот такой дорогой автору мир посягнул германский фашизм. «Уважение к человеку! Уважение к человеку!.. Вот пробный камень! Когда нацист уважает только того, кто похож на него, он не уважает никого, кроме самого себя».

Сказка «Маленький принц» тесно связана со всем творчеством Сент-Экзюпери, но гуманистические идеи облечены здесь в совершенно новую для писателя форму. Сложная аллегоричность образов, тонкий юмор, грустный лиризм определяют художественную форму этой маленькой философской повести. Смысл сказки таков: даже

в самые горькие минуты не теряй веры в торжество добра, не будь безразличен к тому, что творится в мире; пусть волнуют тебя все горести и радости людей, и если тебе покажется, что борьба добра со злом происходит где-то далеко и не касается тебя, все равно знай, что это — твое дело; знай, что только такой взгляд на жизнь можно назвать подлинным гуманизмом… Сент-Экзюпери сам иллюстрировал «Маленького принца», и его акварельные рисунки воспринимаются как неотъемлемая часть художественной ткани этой мудрой сказки.

Весной 1943 года писатель едет в Северную Африку, где находит свою эскадрилью и боевых товарищей. Он хочет лично участвовать в борьбе с фашизмом.

За долгие годы службы в гражданской и военной авиации Сент-Экзюпери получил столько ранений, что к этому времени он уже не мог без посторонней помощи натянуть комбинезон, влезть в кабину самолета, и товарищи с радостью помогают ему. Но, сев за штурвал, старый ветеран — снова в прекрасной «форме», он снова — покоритель просторов, мастер воздушного боя. Сент-Экзюпери участвует в боях за освобождение Сицилии от гитлеровских войск.

А потом — новая полоса вынужденного бездействия: летчика отчисляют в резерв. Ему запрещают боевые вылеты: возраст, состояние здоровья... В течение полугода добивается он разрешения летать. А пока многочисленные рапорты идут по инстанциям, он работает над большой философской книгой «Цитадель», задуманной еще в тридцатые годы.

И в «Цитадели» и в своей публицистике конца войны Сент-Экзюпери с нарастающим беспокойством смотрит на перспективы послевоенной жизни Франции и всего мира. С горечью пишет он о современной западной цивилизации, о «тупиках экономической системы», о «духовном отчаянии». «Мысль о том, что целые поколения французских детей могут быть брошены в чрево германского Молоха, невыносима для меня. Под угрозой сама основа жизни. Но когда она будет спасена, тогда встанет перед нами важнейшая проблема нашего времени — проблема значения человека». Однако решать эту проблему писатель по-прежнему предлагает методами духовного воспитания, самоусовершенствования...

Наконец, в начале 1944 года долгожданный приказ получен. Американский генерал Икер подносит капитану Сент-Экзюпери как личный

подарок право на пять боевых вылетов. К пяти разрешенным полетам летчику удается прибавить еще четыре. 31 июля 1944 года, в восемь часов тридцать минут утра, Сент-Экзюпери поднимается в воздух с аэродрома, расположенного на Корсике, и берет курс на Южную Францию. Запас горючего — на шесть часов. Четырнадцать часов тридцать минут. Самолет не вернулся. Товарищи понимают, что надежды на спасение уже нет. Летчик пропал без вести. Очевидно, самолет, сбитый истребителями врага» упал в море. Сент-Экзюпери не дожил трех недель до освобождения Франции.

Книги Антуана де Сент-Экзюпери пользуются огромной популярностью на родине писателя. Тиражи его произведений достигли во Франции двух с половиной миллионов экземпляров — цифра поистине рекордная для стран Западной Европы. Он дорог людям как мужественный человек и талантливый мастер слова, как мыслитель-гуманист, неизменно убежденный в том, что, «шагая от заблуждения к заблуждению, человек находит в конце концов путь, ведущий его к свету».

М. Ваксмахер

НОЧНОЙ ПОЛЕТ

НОЧНОЙ ПОЛЕТ



Перевод М. ВАКСМАХЕРА

1

Холмы под крылом самолета уже врезали свои черные тени в золото наступавшего вечера. Равнины начинали гореть ровным, неиссякаемым светом; в этой стране они расточают свое золото с той же щедростью, с какой льют свою снежную белизну еще долгое время после ухода зимы.

И пилот Фабьен, который вел с крайнего юга, из Патагонии, почтовый самолет на Буэнос-Айрес, узнавал о приближении вечера по тем же приметам, по каким узнают об этом воды в гавани: по спокойствию, по легким складкам, что едва вырисовываются на тихих облаках. Фабьен словно выходил на бескрайний, безмятежный рейд.

Порой в этой тишине ему начинало казаться, что он совершает неторопливую прогулку, что он — пастух. Пастухи Патагонии бредут не спеша от стада к стаду; Фабьен шел от города к городу — он пас эти маленькие городишки. Он встречал их каждые два часа; города приходили на водопой к берегам рек или щипали траву, на равнинах.

Иногда, после сотен километров степей, более безлюдных, чем море, он пролетал над уединенной фермой; казалось, она плывет ему навстречу

по волнам прерии и несет на себе груз человеческих жизней. И Фабьен, покачивая крыльями, приветствовал этот корабль.

«Показался Сан-Хулиан; через десять минут пойдем на посадку».

Бортрадист передал это сообщение по всей линии.

На протяжении двух с половиной тысяч километров, от Магелланова пролива до Буэнос-Айреса, растянулись цепью посадочные площадки; все они похожи друг на друга, но за этим аэродромом начиналась ночь; так в Африке, за последним покорным селением, проходит граница неведомого.

Радист передал пилоту записку:

«Вокруг бушуют грозы, у меня в наушниках — сплошные разряды. Не заночевать ли в Сан-Хулиане?» Фабьен улыбнулся: небо спокойно, как вода в аквариуме, и все аэропорты впереди, по пути следования, сообщают: «Небо чистое, полное безветрие». Он ответил:

— Полетим дальше.

А радист думал о том, что где-то, как черви внутри плода, притаились грозы; ночь казалась прекрасной, но кое-где начинала подгнивать, и ему было противно погружаться в этот мрак,

скрывающий в себе гниль и разложение.

Сбавляя над Сан-Хулианом газ, Фабьен ощутил усталость. Все, что делает жизнь людей приятной: дома, небольшие кафе, аллеи деревьев, — все это росло, надвигаясь на пего. Он был подобен завоевателю, который вечером, после победы, вглядывается в земли завоеванного края и обнаруживает скромное счастье людей. Фабьен испытывал потребность сбросить с себя доспехи, ощутить тяжесть своего усталого тела — ведь и в тяготах есть своя радость! — и оказаться простым человеком, созерцающим в окно своего дома неизменный, застывший пейзаж. Фабьен остановил бы свой выбор на этом случайном крохотном городке, а выбрав — полюбил бы его. Жизнь в таком городке — словно любовь — умеряет все порывы. Фабьену хотелось бы поселиться здесь надолго, хотелось бы получить здесь свою долю вечности; ему казалось, что городки, где он останавливался на час, и сады, обнесенные старыми стенами, существуют вечно, безразличные к его, Фабьена, жизни. А городок поднимался навстречу экипажу и принимал его в свои объятия. Фабьен думал о дружбе, о ласковых девушках,' об уюте и тепле белой скатерти — обо всем том, с чем человек сживается постепенно и навечно.

А городок бежал уже под самыми крыльями, выставляя напоказ тайны своих садов: ограды не служили им больше защитой. Но, приземлившись, Фабьен понял, что ровно ничего не увидел, кроме ленивых движений нескольких человек среди принадлежавших им камней. Городок самой своей неподвижностью оберегал от постороннего глаза секреты своих привязанностей, он отказывал Фабьену в ласке: для того чтобы завоевать этот городок, надо отречься, перестать быть человеком действия.

Десять минут — и снова в путь.

Фабьен обернулся и посмотрел на Сан-Хулиан; теперь это была лишь горстка огней; потом она превратилась в пригоршню звезд и, поманив его в последний раз, рассеялась пылью.

«Уже не видно приборов, надо включить свет».

Он прикоснулся к контактам; но свет красных лампочек кабины расплывался в голубоватом сиянии сумерек и не освещал стрелок приборов. Фабьен поднес руку к лампочке — пальцы почти не окрасились.

«Слишком рано».

А ночь поднималась подобно темным клубам дыма и заполняла лощины. Впадины долин

сливались уже с равнинными просторами. А в деревнях загорались огни; их созвездия перекликались во мраке, и Фабьен, мигая бортовыми огнями, отвечал огонькам деревень. Всю землю обволокла сеть манящих огней; каждый дом, обратясь лицом к бескрайней ночи, зажигал свою звезду; так маяк посылает свой луч во тьму моря. Искры мерцали всюду, где жил человек. Самолет входил сегодня в ворота ночи, как суда входят на рейд, — легко и плавно. И Фабьен был счастлив.

Он нагнулся к приборной доске. Стрелки уже начинали фосфоресцировать. Проверил показания приборов — и остался доволен. Он обнаружил, что сидит в небе прочно. Тронув пальцем стальной лонжерон, он ощутил в металле пульсацию жизни; металл не дрожал — он жил. Пятьсот лошадиных сил, впряженных в мотор, породили в недрах вещества легчайшие токи — холод металла преобразился в бархатистую плоть. Пилот снова ощущал теперь в полете не головокружение, не хмельную радость, но лишь таинственную работу живого организма.

Теперь, создав свой собственный мир, он мог устроиться в нем поудобнее.

Фабьен постучал по электрораспределительному щиту, проверил один за другим все контакты,

немного поерзал на месте и уселся покрепче, пытаясь отыскать наиболее удобное положение, чтобы чувствовать малейшее колебание пяти тонн металла, которые взвалила себе на плечи зыбкая ночь. Потом ощупал запасную лампу, поставил ее на место, отпустил и снова взял, убедился, что она не скользит, опять отпустил и опять нашел ее, проверил на ощупь каждую рукоятку, каждый рычаг, убеждаясь, что может схватить их. сразу и наверняка, обучая свои пальцы действовать в мире слепоты. Потом, когда пальцы усвоили это, он разрешил себе зажечь лампу — и кабина сразу же украсилась точными приборами; теперь он мог следить за погружением самолета в ночь по одним только циферблатам. И поскольку ничто не дрожало, не колебалось и не вибрировало, поскольку и гироскоп, и альтиметр, и режим мотора — все оставалось стабильным, он потянулся, прислонился к кожаной спинке кресла и погрузился в полет, в глубокое раздумье, таящее в себе необъяснимую сладость надежды.

И теперь, неся в самом сердце ночи свою сторожевую вахту, он обнаружил, что в ночи раскрывается перед ним человек: его призывы, огни, тревоги. Та простая звездочка во мраке —

это дом, и в нем — одиночество. А та, что погасла, это дом, приютивший любовь… Или тоску. Дом, который не посылает больше сигналов всему остальному миру.

Облокотись о стол, сидят у лампы крестьяне и лелеют в душе смутные, им самим неведомые надежды; этим людям и невдомек, что их желания летят так далеко во мраке ночи, сомкнувшейся над ними. Но Фабьен слышит их, — когда, пролетев тысячу километров, он чувствует, как волны, взлетевшие из бездонных глубин, поднимают и опускают его самолет, в котором пульсирует жизнь; он пробился — как сквозь десять войн — сквозь десять гроз, проплыл по лужайкам лунного света, что пролегли между грозами, и вот, победитель, достиг, наконец, этих огней. Людям кажется, что лампа освещает только их скромный стол; но свет ее, пролетев восемьдесят километров, уже тронул кого-то как призыв, как крик отчаяния с пустынного, затерянного в море острова.

2

Итак, три почтовых самолета — из Патагонии, из Чили и из Парагвая — возвращались в Буэнос-Айрес с юга, запада и севера. В Буэнос-Айресе

почту должны были погрузить в самолет, который около полуночи отправлялся в Европу.

Трое пилотов летели, затерянные в ночи, размышляли о полете и, держа курс на огромный город, медленно спускались со своих грозных или мирных небес, как спускаются с гор крестьяне.

Ривьер, директор всей сети воздушных сообщений, шагал взад и вперед по посадочной площадке буэнос-айресского аэропорта. Он был молчалив: ни один из трех самолетов еще не приземлился — и день продолжал таить в себе опасность. По мере поступления телеграмм Ривьер проникался сознанием, что с каждой минутой сокращается область неведомого и он, вырывая что-то из лап судьбы, вытягивает экипажи самолетов из ночи на берег.

Подошел служащий и передал Ривьеру радиограмму:

— Почтовый из Чили сообщает, что видит огни Буэнос-Айреса.

— Хорошо.

Скоро Ривьер услышит гул мотора; ночь уже отдает ему один самолет; так приливы и отливы моря, полного тайн, выбрасывают на берег сокровище, которое долго качалось на волнах. А вскоре ночь вернет ему и два других самолета.

Тогда этот день завершится. Тогда усталые команды отправятся спать и свежие команды придут им на смену. Но Ривьер не сможет отдохнуть: настанет черед тревожиться о европейском почтовом. И так будет всегда. Всегда. Впервые этот старый борец с удивлением почувствовал, что устал. Прибытие самолетов никогда не станет для него той победой, которая завершает войну и открывает эру благословенного мира. Это будет всегда лишь еще одним шагом, за которым последует тысяча подобных шагов. Ривьеру казалось, что он держит на вытянутой руке огромную тяжесть, держит долго, без отдыха, без надежды на отдых. «Старею…» Должно быть, он стареет, если душа его требует какой-то иной пищи, кроме действия. Его удивило, что он размышляет над проблемами, которые прежде никогда его не тревожили. Задумчиво журча, к нему подступали волны доброты и нежности, которые он обычно гнал от себя, — волны безвозвратно утраченного океана. «Значит, все это так близко?..» Да, он незаметно и постепенно пришел к старости, к мыслям «а вот настанет время», к мыслям, которые так скрашивают человеческую жизнь. Будто и на самом деле в один прекрасный день может «настать время» и где-то в конце жизни ты до-

стигнешь блаженного покоя — того, что рисуется в грезах!.. Но покоя нет. Возможно, нет и победы. Не могут раз навсегда прибыть все почтовые самолеты…

Ривьер остановился возле старого механика Леру, возившегося у самолета. Как и Ривьер, Леру работал уже сорок лет. Он отдавал работе все свои силы. Когда в десять вечера или в полночь Леру приходил домой, перед ним не открывался какой-то другой мир; возвращение домой не было для него бегством. Ривьер улыбнулся этому человеку с грубым лицом; механик сказал, указывая на отливающую синевой ось: «Она была слишком туго закреплена, я исправил». Ривьер наклонился к оси. Он снова вернулся к служебным заботам. «Нужно будет сказать в мастерских, чтобы они подгоняли эти штуки посвободнее». Потрогав пальцем царапины на металле, Ривьер опять внимательно посмотрел на Леру, на его суровое морщинистое лицо. С языка сорвался странный вопрос, и сам Ривьер улыбнулся, задавая его:

— Скажите, Леру, вы в своей жизни много времени потратили на любовь?

— О, любовь, господин директор… знаете ли…

— Вам, как и мне, всегда не хватало времени…

— Да, не очень-то хватало…

Ривьер вслушивался в звук его голоса, пытаясь понять, звучит ли в ответе горечь; но горечи не было. Оглядываясь На пробитую жизнь, этот человек испытывал спокойное удовлетворение столяра, отполировавшего чудесную доску: «Вот и все! Готово!»

«Вот и все! — подумал Ривьер. — Моя жизнь тоже готова!»

Он отогнал грустные мысли, навеянные усталостью, и направился к ангару: чилийский самолет уже гудел в воздухе.

3

Отдаленный гул мотора все зрел, наливался. Зажглись посадочные огни. Красные фонари ночного освещения вычертили контуры ангара, радиомачт, квадратной площадки. Все приняло праздничный вид.

— Вот он!

Самолет уже катился по земле в лучах прожекторов. Он так сверкал, что казался совсем новым. Вот он остановился, наконец, перед ангаром; механики и подсобные рабочие устремились к нему, чтобы выгрузить почту, но пилот Пельрен не шевелился.

— Эй! Чего вы ждете? Выходите!

Пилот, занятый каким-то таинственным делом, не отвечал. Вероятно, он прислушивался к еще звучавшему в нем шуму полета. Он медленно покачал головой, нагнулся и стал что-то ощупывать внизу. Наконец, он выпрямился, обернулся к начальству, к товарищам и обвел их серьезным взглядом, словно осматривая свое достояние. Казалось, он пересчитывает, измеряет, взвешивает их. Он честно заслужил все это: и дружескую встречу, я праздничное убранство ангара, и прочность цемента, н там, вдали, город, с его движением, с его женщинами, с его теплом. Теперь он крепко держал людей в широких ладонях, держал своих подданных: он мог их осязать, слышать, мог обругать их. Да, сначала он даже решил их обругать за то, что они так спокойны, уверены в своей безопасности — стоят и любуются луной. Но он был милостив:

— За выпивку пла́тите вы…

И вылез из самолета.

Ему захотелось рассказать о том, что он пережил в полете.

— Если б вы только знали!..

Считая, видимо, что этим все сказано, он принялся стаскивать с себя кожаную куртку.

Когда автомобиль уносил Пельрена вместе с

хмурым инспектором и молчаливым Ривьером к Буэнос-Айресу, пилот почувствовал грусть. Конечно, что может быть приятнее — выпутаться из беды и, обретя под ногами твердую землю, отпускать без зазрения совести сочные ругательства. Чертовски весело!.. И все же, как вспомнишь, становится не по себе.

Сражение с циклоном — это по крайней мере нечто реальное, откровенное. Иное дело — облик вещей, когда им кажется, что они одни. «Как в дни восстания, — подумал Пельрен, — лица людей только чуть бледнеют — но как все кругом меняется!»

Усилием воли он заставил себя вспомнить о пережитом.

Мирно летел он над Андийскими Кордильерами. Здесь царила великая тишина снегов. В это нагромождение гор зимние снега внесли мир — как вносят его века в мертвые старинные замки. На две сотни километров — ни одного человеческого существа, ни малейшего дуновения жизни, ни единого живого движения. Только отвесные кручи, что вздымаются до шести тысяч метров, только каменные одежды, спадающие вниз прямыми складками, только грозное спокойствие вокруг.

Это произошло вблизи пика Тупунгато…

Пельрен подумал. Да, да, именно там стал он свидетелем чуда.

Сначала он ничего не увидел, только ощутил какое-то беспокойство. Как человек, который думал, что он — один, и вдруг почувствовал, что он уже не один, что кто-то смотрит на него. Так и Пельрен — слишком поздно и не понимая еще что к чему. — ощутил, что вокруг него смыкается кольцо гнева. Вот и все. Откуда вырывался этот гнев?

И как угадал пилот, что гнев источают и камни и снега? Ведь, казалось, ровно ничего не произошло; не было и тени наплывающей бури. Но у него на глазах рождался иной мир, чем-то. неуловимо отличавшийся от привычного. С необъяснимой тоской смотрел человек на вершины, выглядевшие так простодушно, на снежные гребни, почти такие же белые, как обычно. Все это медленно оживало — как народ.

Пельрен еще не вступил в борьбу; он крепко стиснул штурвал. Готовилось нечто, чего он не понимал. Как зверь перед прыжком, напрягал он мускулы — но все, что он видел перед собой, было спокойно. Да, спокойно — но в этом спокойствии таилась странная мощь.

Потом все вдруг заострилось. Все гребни и пики стали внезапно острыми; пилот почувствовал, что они, как форштевни, рассекают упругую грудь ветра. Потом ему стало казаться, что они кружатся вокруг него и разворачиваются, готовясь к бою, как огромные корабли. Затем в воздух поднялась пыль; она летела над снегами и легко, словно парус, колыхалась на ветру. Тогда, пытаясь нащупать путь, на случай, если придется отступить, Пельрен обернулся назад — и содрогнулся: Кордильеры пришли в волнение.

— Я пропал.

Впереди остроконечная вершина, как вулкан в миг извержения, выбросила столб снежной лавы. Потом фонтан снега взвился над другим пиком, немного правее. И вот стали вспыхивать все пики, один за другим; казалось, их зажигает невидимый факельщик. Закружился первыми водоворотами воздух. И горы вокруг пилота закачались…

Неистовая схватка почти не оставляет следов; Пельрен искал — и не находил больше в себе воспоминаний о мощных вихрях, которые завертели его. Он помнил только, как яростно барахтался в языках серого пламени.

Он задумался.

«Циклон — это ничего. Тут уж спасаешь свою шкуру. Но пока он еще не начался! Это первая встреча!..»

Ему казалось, что теперь среди тысячи лиц он сможет узнать это яростное лицо; и, однако, он уже забыл его,

4

Ривьер смотрел на Пельрена. Через двадцать минут тот выйдет из машины и, утомленный, отяжелевший, смешается с толпой. Может быть, он подумает: «Ну, и устал же я... Гнусная работенка!» И скажет жене: «А ведь здесь, пожалуй, лучше, чем над Андами», — или что-нибудь в этом роде... И, однако, Пельрен почти отрешился от всего, за что так цепко держатся люди: он только что узнал, насколько все это мелко. Он прожил несколько часов по ту сторону декораций, прожил, не зная, будет ли ему дано вновь обрести этот город с его огнями, увидит ли он еще раз пусть скучноватых, но таких дорогих сердцу спутников детства — все свои маленькие человеческие слабости.

«В любой толпе, — думал Ривьер, — есть люди, которые ничем из нее не выделяются. Но они — вестники Чудесного и сами того не знают.

Разве что...»

Ривьер боялся иных поклонников авиации. Они не понимали сокровенного смысла трудной жизни летчиков; их восторженные восклицания извращали самое существо приключения и принижали человека. Но в Пельрене было благородное величие человека, который просто лучше других знает, чего стоит наш мир, если взглянуть на него под определенным углом зрения, — величие человека, который грубовато пренебрегает пошлыми знаками одобрения...

Ривьер поздравил его по-своему:

— Как вам удалось?..

Ему нравилось, что Пельрен говорил о своем ремесле просто, говорил о полетах, как кузнец о своей наковальне.

Пельрен, чуть ли не извиняясь, начал объяснять: «Путь к отступлению оказался отрезан; у меня не было выбора». К тому же он ничего не видел: снег слепил глаза. Его спасли бешеные токи воздуха — они подбросили самолет на высоту семи тысяч метров. «Все время, пока я переваливал через горы, мне приходилось лететь вровень с вершинами». Он сказал также, что следовало бы переместить воздушный запорник гироскопа, а то его залепляет снегом: «Понимаете, образуется

ледяная корка...» Потом новые воздушные потоки завертели Пельрена, отбросив его вниз, до трех тысяч метров. И как только он не наткнулся при этом на скалы! Вдруг оказалось, что он летит уже над равниной. «Внезапно я понял, что вокруг самолета — чистое небо!» Пельрену показалось в тот миг, что он вышел из темной пещеры...

— В Мендосе — тоже буря?

— Нет. Когда *я сел*, *небо* было совсем чистое; никакого ветра.! Но за мной по пятам шла буря.

Он описал ее, эту бурю, потому что, сказал он, «как-никак, все это было довольно странно». Вершина бури терялась где-то в вышине, среди снежных туч, а основание катилось по равнине, как черный поток лавы. Он поглощал город за городом. «Никогда я не видел ничего подобного...» И Пельрен замолчал, настигнутый каким-то воспоминанием.

Ривьер обернулся к инспектору:

— Это циклон с Тихого океана; нас предупредили слишком поздно. Впрочем, такие циклоны никогда не переваливают через Анды.

Кто мог предвидеть, что на этот раз циклон продолжит свой путь на восток...

Инспектор, ничего не понимавший в этих вещах, согласился. с Ривьером.

Словно собираясь что-то сказать, инспектор обернулся к Пельрену; под кожей у инспектора заходил кадык. Но он промолчал и, словно передумав, опять стал смотреть прямо перед собой с видом меланхолического достоинства.

Свою меланхолию инспектор возил с собой, как багаж. Он приехал в Аргентину накануне, вызванный Ривьером для выполнения довольно неопределенных обязанностей, и не знал, куда девать свои большие руки и свое инспекторское достоинство. Он не имел права ни на выражение восторга, ни на воображение, ни на остроумие; по своей должности он должен был восхищаться лишь одним качеством: пунктуальностью. Он не имел права выпить стаканчик-другой в компании приятелей, не имел права быть с товарищами на «ты», не мог отважиться на каламбур — разве только свершится невозможное и судьба пошлет ему в каком-нибудь аэропорту встречу с другим инспектором.

«Трудно быть судьей», — думал он.

Говоря откровенно, суда он не вершил — он лишь качал головой. Встретившись с чем-то, чего он не понимал (а он не понимал ничего), он медленно качал головой. Это приводило в смятение тех, у кого совесть была нечиста, и способствова-

ло исправному уходу за оборудованием. Его никто не любил: инспектор создан не для любовных утех, а для составления рапортов. Он отказался от мысли предлагать в рапортах какие-либо новые методы или ' технические усовершенствования — отказался с тех пор, как Ривьер написал: «Инспектора Робино просят представлять не поэмы, а рапорты. Инспектору Робино надлежит использовать свои знания для того, чтобы стимулировать служебное рвение персонала». И с той поры человеческие слабости стали его хлебом насущным. Он охотился за любившим выпить механиком и за начальником аэродрома, явившимся на работу после разгульной ночи, и за пилотом, неумело посадившим самолет.

Ривьер говорил о нем: «Он не очень умен, поэтому приносит большую пользу». Правила, установленные Ривьером, были для него результатом изучения людей; для Робино — существовало лишь изучение правил.

— Робино, во всех случаях, когда самолет вылетает с опозданием, — сказал ему как-то Ривьер, — вы должны лишать виновных премии за точность.

— Даже тогда, когда задержка от них не зависит? Даже в случае тумана?

— Даже в случае тумана.

И Робино испытал своего рода гордость: значит, человек, под чьим началом он служит, так силен, что не боится быть несправедливым. Значит, на Робино тоже падает отблеск величия этой власти, не боящейся обижать людей.

— Вы дали отправление в шесть пятнадцать, — повторял он потом начальникам аэропортов. — ,Мы не можем выплатить вам премию.

— Но, господин Робино, ведь в пять тридцать за десять шагов не было видно ни зги!

— Правила есть правила.

— Господин Робино, не можем же мы разогнать туман!

Но Робино напускал на себя таинственный вид и молчал. Он представлял дирекцию. Из всех этих пешек он один понимал, что, наказывая людей, можно улучшать погоду.

«Он вообще ни о чем не думает, — говорил о нем Ривьер, — это лишает его возможности думать неверно».

Если пилот калечил машину, то он лишался премии за безаварийные полеты.

— А если пилот терпит аварию над лесом?

— Безразлично, хотя бы над лесом.

И Робино неукоснительно следовал этому ука-

занию.

— Я очень сожалею, — говорил он пилотам, упиваясь собственными словами, — я бесконечно сожалею, но старайтесь терпеть аварии не над лесом.

— Но, господин Робино! Ведь это от нас не зависит!

— Правила есть правила.

«Правила, — думал Ривьер, — похожи на религиозные обряды: они кажутся нелепыми, но они воспитывают людей». Ривьеру было безразлично, справедлив он или несправедлив в глазах людей. Быть может, слова «справедливость» и «несправедливость» вообще были лишены для него всякого смысла. В маленьких городках обыватели гуляют вечера напролет вокруг беседки, из которой доносится музыка; Ривьер думал: «Какой смысл говорить о справедливости или несправедливости по отношению к ним: они пока не существуют». Человек был для него девственным воском, из которого предстояло что-то вылепить. Надо вдохнуть душу в эту материю, наделить ее волей. Своей суровостью он хотел не поработить людей, а помочь им превзойти самих себя. Наказывая их за каждое опоздание, он совершал акт несправедливости — но тем

самым он устремлял волю людей, их помыслы на одно: на то, чтобы в каждом аэропорту самолеты вылетали без опозданий; он создавал эту волю. Не позволяя людям радоваться нелетной погоде как приглашению отдохнуть, он заставлял их напряженно ждать момента, когда небо прояснится; и каждый — вплоть до последнего подсобного рабочего — в душе воспринимал это ожидание, как что-то унизительное. И они стремились использовать первую же трещину в небесной броне. «На севере — окно! В путь!» Благодаря Ривьеру на всей линии в пятнадцать тысяч километров господствовал культ своевременной доставки почты.

Ривьер говорил иногда:

— Эти люди счастливы: они любят свое дело, и они любят его потому, что я строг.

Может быть, он и причинял людям боль, но он же давал им огромную радость. «Нужно заставить их жить в постоянном напряжении, — размышлял Ривьер, — жизнью, которая приносит и страдания и радости; это и есть настоящая жизнь».

Когда машина въехала на улицы города, Ривьер приказал отвезти его в контору компании. Оставшись наедине с Пельреном, Робино посмотрел на летчика и заговорил.

5

В тот вечер Робино охватила тоска. Перед лицом Пельрена-победителя он только что обнаружил, насколько серой была его собственная жизнь. Обнаружил, что он, Робино, несмотря на свое звание инспектора, на свою власть, стоил меньше, чем этот разбитый усталостью, закрывший глаза человек с черными от масла руками, забившийся в угол машины. Впервые Робино испытывал восхищение и потребность выразить это чувство. А больше всего — потребность в дружбе. Он устал от поездки, от каждодневных неудач; он даже чувствовал себя немного смешным. В этот вечер, проверяя склад горючего, он совершенно запутался в цифрах, и тот самый кладовщик, которого он хотел поймать на злоупотреблениях, сжалился над ним и закончил за него все подсчеты. Больше того, заявив, что масляный насос типа «Б-6» установлен неправильно, он спутал его с масляным насосом типа «Б-4», и коварные механики позволили ему добрых двадцать минут клеймить позором «невежество, которому нет оправдания», — его собственное невежество.

К тому же он боялся своей комнаты в гостинице. Везде, от Тулузы до Буэнос-Айреса, он шел

после работы в свой неизменный номер. Обремененный переполнявшими его тайнами, он запирался на ключ, вынимал из чемодана стопу бумаги, медленно выводил слово «Рапорт» и, написав несколько строчек, рвал бумагу в клочки. Он страстно мечтал спасти компанию от великой опасности. Но компании не угрожала никакая опасность. До сих пор ему удалось спасти одну лишь втулку винта, тронутую ржавчиной. Неторопливо водя пальцем по этой ржавчине, он мрачно смотрел на стоявшего перед ним начальника аэродрома; тот ответил: «Обратитесь в тот посадочный: пункт, откуда этот самолет только что прибыл...» Робино начинал сомневаться в важности своей роли.

Желая сблизиться с Пельреном, он отважился предложить:

— Не пообедаете ли со мной? Мне так хочется поболтать хоть немного... Мои обязанности не так уж легки..., Но, боясь упасть в глазах пилота, тут же поправился: — На мне лежит такая ответственность!

Подчиненные не любили допускать Робино в свою частную жизнь. Каждый думал: «Если он пока еще ничего не нашел для своего рапорта, то он меня съест, как только проголодается».

Но в тот вечер Робино думал только о своих бедах; его подлинную тайну составляла тягостная экзема, постоянно мучившая его, и ему захотелось сегодня рассказать об этом, захотелось, чтобы его пожалели: не находя больше утешения в гордости, он искал его теперь в смирении. Во Франции у него была любовница; возвращаясь, он рассказывал ей по ночам о своей инспекционной деятельности — это был его способ обольщения, — но он знал, что она не любит его, и сегодня чувствовал потребность поговорить о ней.

— Так вы пообедаете со мной?

Пельрен великодушно согласился.

6

Служащие дремали за столами буэнос-айресской конторы, когда вошел Ривьер. В своем неизменном пальто, в шляпе, он, как всегда, был похож на вечного путешественника и почти не привлекал к себе внимания — так немного места занимала его маленькая фигура, так подходили к любой обстановке его седые волосы, его безликая одежда. Но люди ощутили внезапный прилив усердия. Зашевелились секретари, начал перелистывать последние документы заведующий бюро, застучали пишущие машинки.

Телефонист подключил аппарат и принялся что-то вписывать в толстую книгу регистрации телеграмм.

Ривьер сел и стал читать.

Самолет, который прибыл из Чили, выдержал испытание; перед Ривьером проходили события удачного дня, когда все как-то устраивается само собой; когда донесения, которые, облегченно вздыхая, посылают один за другим аэропорты, становятся скупыми сводками одержанных побед. Почтовый из Патагонии тоже шел быстро вперед; он даже опережал расписание: ветры гнали с юга на север огромную попутную волну.

— Дайте метеосводки.

Каждый аэропорт хвастался ясной погодой, прозрачным небом, славным ветерком. Америку окутывал золотистый вечер. Ривьер радовался этому усердию природы. Где-то в ночи вел битву самолет из Патагонии, но у него были все шансы на победу.

Ривьер отодвинул тетрадь.

— Хорошо!

И вышел из кабинета, чтобы взглянуть, как работают люди, — ночной страж, бодрствующий над половиной мира.

Он остановился перед открытым окном — и

постиг ночь, ее, принявшую Буэнос-Айрес, всю Америку под свои просторные своды. Он не удивился этому ощущению величия. Небо Сантьяго — небо чужой страны; но самолет идет в Сантьяго, люди по всей линии, от края до края, живут под одним бездонным куполом. Вот летит сейчас другой почтовый самолет; тот, чей голос так жадно ловят наушники радистов; еще недавно рыбаки Патагонии видели сверкание его бортовых огней. Чувство тревоги за находящийся в полете самолет ложится грузом не только на плечи Ривьера: услышав рокот мотора, столичные города и провинциальные городишки чувствуют ту же тревогу.

Радуясь, что ночь так чиста, он вспомнил другие ночи, когда казалось, что самолет погружается в хаос, что спасти его — так трудно… В такие ночи радиостанция Буэнос-Айреса слышит, как к жалобе самолета примешивается хруст гроз; за глухой оболочкой пустой породы теряется золотая жила музыкальной радиоволны. И какая скорбь звучит в минорной песне самолета, который, как слепая стрела, устремляется навстречу опасностям ночи!

«В ночь дежурства место инспектора — в конторе», — подумал Ривьер.

— Разыщите Робино!

В это время Робино старался завоевать дружбу пилота. В гостинице он распаковал перед Пельреном свой чемодан; из недр чемодана явились на свет те малозначительные предметы, которые сближают инспекторов с остальной частью человечества: несколько безвкусных сорочек, несессер с туалетными принадлежностями, фотография тощей женщины (инспектор приколол ее к стене). Так он смиренно исповедовался перед Пельреном в своих нуждах, в своих нежных чувствах, в своих скорбях. Раскладывая перед летчиком свои жалкие сокровища, он выставлял напоказ свою нищету. Свою моральную экзему. Он показывал свою тюрьму.

Но у Робино, как у всех людей, был в жизни маленький луч света. С огромной нежностью он извлек с самого дна чемодана небольшой, тщательно завязанный мешочек. Он долго поглаживал его ладонью, не произнося ни слова. Потом разжал, наконец, руки:

— Я привез это из Сахары…

Инспектор покраснел от такого смелого признания. Его мучили неприятности; он был несчастлив в браке; жизнь его была безотрадной, и он находил утешение в маленьких черноватых

камешках: они приоткрывали перед ним дверь в мир тайны.

— Точно такие же попадаются иногда и в Бразилии, — сказал он и покраснел еще больше.

Пельрен потрепал по плечу этого инспектора, склонившегося над легендарной Атлантидой…

Что-то похожее на чувство стыдливости заставило Пельрена спросить:

— Вы любите геологию?

— Это моя страсть.

Во всем мире только камни были к нему мягки.

Робино вызвали в контору; он стал грустен, но обрел при этом свое обычное достоинство.

— Я вынужден вас покинуть: господин Ривьер требует меня по весьма важному делу.

Когда Робино вошел в контору, Ривьер успел забыть о нем. Он размышлял, глядя на стенную карту, где красной краской была нанесена сеть авиалиний компании. Инспектор ждал его приказаний. После долгих минут молчания Ривьер, не поворачивая головы, спросил:

— Что вы думаете об этой карте, Робино?

Возвращаясь из мира грез, Ривьер предлагал иногда такие ребусы своим подчиненным.

— Эта карта, господин директор…

Честно говоря, инспектор ровно ничего о ней не думал; с суровым видом он созерцал карту и чувствовал, что инспектирует сразу Европу и Америку. А Ривьер между тем продолжал свои раздумья: «Лицо этой сети прекрасно, но грозно. Красота, стоившая нам многих людей — молодых людей. На этом лице — гордое достоинство на славу сработанной вещи; но сколько еще проблем ставит оно перед нами!..» Однако главным для Ривьера всегда была цель.

Робино по-прежнему стоял рядом, уставившись в висевшую прямо перед ним карту; он понемногу приходил в себя. От Ривьера он не ждал сочувствия.

Однажды он попытался было разжалобить Ривьера, рассказав о своем нелепом, портившем ему жизнь недуге, но тот ответил насмешкой:

— Экзема мешает вам спать — значит, она стимулирует вашу активность.

В этой шутке Ривьера заключена была большая доля правды. Он имел обыкновение утверждать:

— Если бессонница рождает у музыканта прекрасные произведения — это прекрасная бессонница!

Как-то он сказал, указывая на Леру:

— Подумайте, как прекрасно уродство: оно

гонит прочь от себя любовь…

Может быть, всем тем высоким, что жило в Леру, он был обязан обидевшей его судьбе, которая свела его жизнь к одной лишь работе…

— Вы очень близки с Пельреном?

— Гм…

— Я не упрекаю вас.

Ривьер сделал полуоборот и, нагнув голову, стал хо-дить по комнате маленькими шагами, увлекая за собой Робино. На устах директора заиграла печальная улыбка, значения которой Робино не понял.

— Только… Только помните, что вы — начальник.

— Да, — сказал Робино.

А Ривьер подумал, что вот так каждую ночь завязывается в небе узелок новой драмы. Ослабление воли людей может повлечь за собой поражение; а предстояла, быть может, тяжелая борьба.

— Вы не должны выходить из роли начальника. — Ривьер словно взвешивал каждое слово. — Может случиться, что ближайшей ночью вы прикажете этому летчику отправиться в опасный рейс; он должен вам повиноваться.

— Да…

— В ваших руках, можно сказать, жизнь людей, и эти люди — лучше, ценнее вас… — Он запнулся. — Да, это важно.

Ривьер по-прежнему ходил мелкими шагами: несколько секунд он помолчал.

— Если они повинуются вам из дружбы — значит, вы обманываете их. Ведь вы, вы лично, — не имеете права требовать от людей никаких жертв.

— Разумеется…

— Если же они надеются, что ваша дружба может избавить их от трудной работы, тогда вы опять-таки их обманываете: они обязаны повиноваться в любом случае. Сядьте сюда.

Ривьер мягко подтолкнул Робино к своему столу.

— Я хочу напомнить вам о ваших обязанностях, Робино. Если вы устали, не у этих людей должны вы искать поддержку. Вы — начальник. Ваша слабость — смешна. Пишите.

— Я…

— Пишите: «Инспектор Робино налагает на пилота Пельрена такое-то взыскание за такой-то проступок». Проступок найдете сами.

— Господин директор!

— Исполняйте, Робино. Действуйте так, как

если бы вы поняли. Любите подчиненных. Но не говорите им об этом.

Отныне Робино будет с новым рвением требовать, чтобы на втулках не было ржавчины.

Один из аэродромов линии сообщил по радио: «Показался самолет. Самолет дает сигнал: «Режим мотора падает. Иду на посадку».

Значит, будут потеряны полчаса. Ривьер ощутил раздражение; так бывает при внезапной остановке курьерского поезда в пути, когда минуты начинают бежать вхолостую, не отдавая больше своей доли покоренных просторов. Большая стрелка часов на стене отсчитывала теперь мертвое пространство… А сколько событий могло бы вместиться в этот раствор циркуля!

Чтобы обмануть время тягостного ожидания, Ривьер вышел из комнаты, и ночь показалась ему пустой, как театр без актеров. «И такая ночь пропадает зря!» Со злобой смотрел он на чистое небо, украшенное звездами, на эти божественные сигнальные огни, на луну, — смотрел, как попусту растрачивается золото такой ночи.

Но как только самолет поднялся в воздух, ночь снова стала для Ривьера волнующе прекрасной. Она несла в своем лоне жизнь. Об этой жизни и заботился Ривьер:

— Спросите у экипажа, какая у них погода.

Промелькнули десять секунд.

— Превосходная.

Затем последовали названия городов, над которыми пролетал самолет, и для Ривьера это были крепости, взятые с бою.

7

Часом позже бортрадист патагонского почтового ощутил легкий толчок, точно кто-то приподнял его за плечи. Он посмотрел вокруг себя — тяжелые тучи притушили свет звезд. Он наклонился вниз, к земле, надеясь отыскать огни деревень, похожие на прячущихся в траве светлячков, но ничто не сверкало в этой черной траве.

С тоскливым чувством он подумал, что предстоит трудная ночь: наступление, отступление, захваченные территории, которые приходится сдавать врагу. Он не понимал тактики пилота; ему казалось, что они скоро ударятся о толщу ночи, как о стену.

Теперь он заметил впереди, на уровне горизонта, какие-то почти неуловимые отблески, словно зарево над кузницей. Радист тронул Фабьена за плечо, но пилот не пошевельнулся.

Первые волны дальней грозы докатились до са-

молета. Металл слегка всколыхнулся всей своей массой, навис тяжестью над телом радиста, потом будто растворился, растаял, и несколько секунд радист плыл один в ночной тьме. Тогда он вцепился обеими руками в стальные лонжероны.

Во всей вселенной радист видел только красную лампочку, освещавшую кабину, и содрогнулся, представив, как он спускается в самое сердце ночи, под защитой одной только крохотной шахтерской лампочки.

Он не посмел тревожить пилота вопросами. Сжав руками сталь, наклонившись вперед к Фабьену, смотрел он на его угрюмый затылок.

В слабом свете вырисовывались голова, неподвижные плечи. Темная масса тела чуть склонилась влево; обращенное к буре лицо омывалось, должно быть, каждым отблеском грозы. Но его радист не видел. Все чувства, торопливо сменявшие друг друга на этом устремленном к буре лице, — гримаса досады, воля, гнев, — все сигналы, которыми бледное лицо пилота обменивалось с короткими вспышками грозовых огней, все это оставалось для радиста непостижимым.

Но он угадывал мощь, затаившуюся в самой неподвижности этой темной фигуры. Он восхищался этой мощью, которая неудержимо влекла

его навстречу грозе, но которая и защищала его. Он знал, что руки, сомкнувшиеся на штурвале, уже пригнули бурю, как затылок зверя; а сильные, пока еще неподвижно застывшие плечи таят огромный запас энергии.

Радист подумал, что в конце концов вся ответственность ложится на пилота. И, словно усевшись на круп коня, летящего галопом в объятья пожара, радист с наслаждением ощутил материальную, весомую, прочную силу, которая струилась из этой неподвижно застывшей впереди черной фигуры.

Слева, как маяк с мигающим огнем, слабо вспыхнул новый очаг.

Радист хотел было дотронуться до плеча Фабьена, предупредить его, но летчик сам уже медленно поворачивал голову и несколько секунд смотрел в лицо новому врагу; потом, так же медленно, он принял прежнее положение: все те же неподвижные плечи, тот же прижатый к кожаной спинке затылок.

8

Ривьер вышел на улицу. Ему хотелось немного пройтись, хотелось заглушить то тревожное чувство, которое снова овладело им. Он, чья

жизнь всегда была посвящена только действию, действию, проникнутому драматизмом, он с удивлением ощутил, как эта драма уступает место какой-то иной, его личной драме. Он подумал, что жизнь обывателей в маленьких городишках, на первый взгляд тихая, вращающаяся вокруг беседок с оркестром, — подчас тоже таит в себе тяжкие драмы: болезнь, любовь, смерть, и что, может быть… Собственная болезнь многому его научила. «Будто открылись какие-то новые окна», — думал он.

Позже, часам к одиннадцати вечера, почувствовав себя лучше, он зашагал обратно, к конторе. Он неторопливо пробирался среди людей, толпившихся у входа в кинотеатры. Подняв глаза к звездам, которые сверкали над узкой улицей и таяли в небе, отступая перед огнями реклам, Ривьер подумал: «Сегодня в полете — два почтовых. Сегодня вечером я отвечаю за все небо. Далекая звезда дает мне знак. Она ищет меня в толпе. Она нашла меня. Вот почему я чувствую себя немного чужим, одиноким».

Вспомнилась музыкальная фраза — несколько нот из сонаты, которую слушал он вчера в кругу приятелей. Приятели не поняли музыки.

— Такое искусство наводит скуку. И на вас тоже,

только вы не хотите в этом признаться.

— Возможно, — ответил он.

Как и теперь, он почувствовал себя тогда одиноким, но тут же понял, как обогащает его такое одиночество. Музыка несла ему некую весть — ему одному среди всех этих недалеких людей. Нежно поверяла она свою тайну, как знак, что подает ему звезда. Через головы стольких людей она говорила с ним на языке, понятном ему одному.

На тротуарах Ривьера толкали. Он думал: «Стоит ли раздражаться? Я — как человек, у которого болен ребенок; медленно идет он в толпе и несет в душе великое безмолвие своего дома».

Ривьер смотрел на людей. Он пытался узнавать тех, кто бережно хранит в душе свое открытие или свою любовь. Он думал о том, как одиноки смотрители маяков.

Ривьеру доставила удовольствие тишина конторы. Медленно шел он по комнатам, и его шаги одиноко отдавались в пустом здании. Пишущие машинки спали под своими чехлами. Ровные ряды канцелярских папок лежали за сомкнувшимися дверцами огромных шкафов. Десять лет опыта и труда! Ему представилось: он ходит по пбдвалам банка, вокруг громоздятся несметные богатства. Он думал о том, что каждая из его

ведомостей накопила в себе нечто более ценное, чем золото, — живую силу, хотя и заснувшую, как золото в банковских кладовых.

В одной из комнат он встретит сейчас единственного бодрствующего здесь человека — дежурного секретаря. Он работает для того, чтобы продолжалась жизнь, продолжались усилия человеческой воли, чтобы никогда и нигде, от Тулузы до Буэнос-Айреса, не обрывалась цепь.

«И человек этот даже не догадывается о собственном величии».

Где-то ведут сейчас борьбу почтовые самолеты. Ночной полет тянется долго, как болезнь. Возле самолета надо дежурить, как у постели больного. Необходимо помогать людям, которые руками, коленями, грудью встречают ночной мрак, бьются с ним лицом к лицу и для которых не существует — во всем мире не существует ничего, кроме зыбких, невидимых стихий. Силой своих рук. вслепую, должны они вырвать себя из этих стихий, как из морской пучины.

Как страшно может прозвучать иногда признание: «Чтоб разглядеть свои руки, мне пришлось их осветить...» В красном свете выступает лишь бархатная мягкость рук, словно брошенных в ванночку с проявителем. Это — все, что остается

от вселенной, и это необходимо спасти.

Ривьер толкнул дверь, ведущую в отдел эксплуатации. Отбрасывая в угол светлое пятно, в комнате горела единственная лампочка. Постукивание пишущей машинки придавало какой-то особый смысл тишине, но не нарушало ее. Время от времени трепетал в воздухе телефонный звонок; дежурный секретарь вставал со своего места и шел навстречу этому зову, настойчивому и грустному. Он снимал трубку, и неясная тревога исчезала; в затканном тенью углу начинался тихий разговор. Потом человек бесстрастно возвращался к столу; выражение сонливого одиночества, застывшее на его лице, скрывало неведомую тайну. В часы, когда два почтовых находились в полете, каждый призыв, шедший оттуда, снаружи, из ночи, нес в себе угрозу. Ривьер подумал о телеграмме, которая внезапно обрушивается на собравшуюся вокруг лампы семью, когда в течение нескольких бесконечно долгих секунд лицо отца, прочитавшего телеграмму, еще не выдает своего страшного секрета. Лишь пробегает по лицу легкая волна — такая спокойная, не похожая на крик о помощи…

И каждый раз в приглушенном телефонном звонке слышалось Ривьеру глухое эхо этого кри-

ка. Одиночество замедляло движения дежурного, делало его похожим на пловца, барахтающегося между двумя волнами. Когда он возвращался из темного угла к своей лампе, казалось, что пловец вынырнул из глубин, и каждый раз в движениях человека чудилась Ривьеру давящая тяжесть секретов.

— Сидите. Я подойду.

Ривьер снял трубку и услышал гуденье ночного мира.

— Говорит Ривьер.

Слабый шум, потом голос:

— Соединяю вас с радиостанцией.

Снова шум, треск переключаемых контактов; потом другой голос:

— Говорит радиостанция. Передаем телеграммы.

Ривьер записывал, кивая головой:

— Так… так…

Ничего существенного. Обычные служебные сводки. Из Рио-де-Жанейро требовали разъяснений, Монтевидео говорил о погоде, а Мендоса о техническом оборудовании. Привычные, домашние звуки.

— А самолеты?

— Гроза. Самолетов не слышим.

— Понятно.

«Здесь ясная, звездная ночь, — думал Ривьер, — а радисты уже обнаружили в ней дыханье далеких гроз».

— До свидания.

Ривьер поднялся. К нему подошел секретарь.

— Бумаги на подпись, господин директор…

— Хорошо.

Ривьер вдруг почувствовал дружескую симпатию к товарищу по работе, на которого тоже взвален груз этой ночи. «Мы вместе ведем бой, — думал Ривьер. — А он так никогда и не узнает, как крепко связывает нас это ночное бдение».

9

Войдя с пачкой бумаг в свой кабинет, Ривьер ощутил вдруг ту острую боль в правом боку, которая вот уже несколько недель не давала ему покоя.

«Плохо дело».

На секунду прислонился к стене.

«Какая нелепость!»

Добрался до кресла.

И снова — в который раз — он, старый лев, почувствовал на себе путы, и глубокая печаль охватила его.

«Столько трудов — чтобы прийти к такому итогу! Мне пятьдесят лет. Пятьдесят лет наполнял я свою жизнь до краев, создавал самого себя, боролся, изменял ход событий — и вот что занимает меня теперь, вот что наполняет меня, вот что вытесняет весь остальной мир. Какая нелепость!»

Он отер пот, подождал, пока боль отпустила его, и принялся за работу.

Медленно перелистывал он бумаги.

«В ходе разборки мотора 301 в Буэнос-Айресе замечено… Наложить на виновного суровое взыскание».

Он подписал.

«На посадочной площадке Флорианополиса вопреки инструкциям…»

Он подписал.

«В дисциплинарном порядке заменить начальника аэродрома Ришара, который…»

Он подписал.

Боль в боку затаилась, но не уходила; она жила в Ривьере как нечто новое, придавая жизни новый смысл, и заставляла Ривьера думать о себе самом — думать с чувством горечи.

«Справедлив я или несправедлив? Не знаю. Я бью — и сокращается число аварий. Ответственность за аварии лежит не на человеке,

а на какой-то безликой силе, и овладеть этой силой можно лишь тогда, когда держишь' всех в своих руках. Если б я был всегда справедлив, каждый ночной полет превращался бы в игру со смертью».

Ривьера вдруг охватила усталость: большого труда стоило ему так неумолимо стоять на своем. Он подумал: а как хорошо было бы проявить жалость...

Погруженный в свои мысли, он по-прежнему перелистывал бумаги.

«...что касается Робле, то с сегодняшнего дня он не числится больше в составе нашего персонала».

Ривьер вспомнил старину Робле, вспомнил состоявшийся накануне разговор:

— Урок. Это будет хороший урок для остальных.

— Но, мсье... Но, мсье... Ведь это случилось один раз, подумайте только! Всего один раз! А я работаю всю свою жизнь!

— Это послужит уроком!

— Но, мсье!.. Взгляните, мсье!..

Потрепанный бумажник, в нем — старый газетный лист: молодой Робле сфотографирован рядом с самолетом.

Ривьер видит, как дрожит в старческих руках наивное свидетельство былой славы…

— Это было в тысяча девятьсот десятом, мсье… Это я собрал первый в Аргентине самолет! Я в авиации — с девятьсот десятого года… Двадцать лет, мсье! И как вы только можете говорить… А молодые!.. Они будут смеяться надо мной в цеху. О, как они будут смеяться!

— Это не относится к делу.

— А мои дети, мсье! У меня есть дети!..

— Я вам уже сказал: вы получите место подсобного рабочего.

— Но мое достоинство, мсье, мое достоинство! Подумайте, мсье, двадцать лет в авиации, старый рабочий — и вдруг…

— Место подсобного рабочего.

— Я отказываюсь, мсье, отказываюсь!

Старческие руки дрожат, и Ривьер старается не смотреть на эти морщинистые, загрубевшие, такие прекрасные руки.

— Место подсобного рабочего.

— Нет, мсье, нет… Я хочу вам сказать…

— Можете идти.

«Я прогнал с такой жестокостью не его, — думает Ривьер. — Я прогнал зло, за которое он, быть может, и не отвечает, но орудием которого он

стал.

Ибо обстоятельствами надо управлять — и они повинуются, и ты созидаешь. Да и людей созидаешь. Или устраняешь, если они — орудие зла».

«Я хочу вам сказать…»

Что хотел сказать ему этот бедный старик? Что у него на старости лет отнимают единственную радость? Что ему дорог самый стук инструментов по металлу самолета? Что его жизнь лишается большой поэзии? И потом… что нужно как-то жить?

«Я очень устал, — думал Ривьер. В нем поднимался какой-то ласковый жар. Он постучал по бумаге, подумал: — Я так любил лицо этого старого товарища по работе…» И снова увидел его руки, снова вспомнил, как они слабо вздрогнули, словно их пальцы хотели крепко сплестись. Достаточно было сказать: «Ну ладно, ладно, оставайтесь». И по старым рукам пробежала бы волна радости, грезил Ривьер, и эта радость, о которой сказало бы не лицо, сказали бы старые рабочие руки, — эта радость показалась бы Ривьеру самой прекрасной радостью в мире. «Разорвать эту бумагу?..» Семья старика, его возвращение вечером домой, и эта скромная гордость:

— Так, значит, тебя оставляют?

— Еще бы! Еще бы! Ведь это я собрал первый в Аргентине самолет!

И молодежь в цеху не будет больше смеяться, и старика опять будут уважать…

«Разорвать?»

Позвонил телефон, Ривьер взял трубку.

Долгое молчание. Потом отголоски, гулкая глубина, которую ветер и простор придают человеческим голосам… Наконец, трубка произнесла:

— Говорит аэродром. Кто у аппарата?

— Ривьер.

— Господин директор, шестьсот пятидесятому дано отправление.

— Хорошо.

— Наконец, все в исправности. Но пришлось в последний момент чинить электроосвещение: оказались поврежденными контакты.

— Хорошо. Кто монтировал цепь?

— Мы проверим. Если разрешите, применим строгие меры: неисправность освещения на борту — очень опасная вещь!

— Разумеется.

Ривьер думал: «Если не вырывать с корнем зло, не вырывать его всякий раз, как с ним сталкиваешься, тогда во время полета погаснет свет. Видеть орудия зла и не бороться со злом — это

преступление. Нет, Робле должен уйти».

Секретарь, ничего не видя, по-прежнему стучал на машинке.

— Что вы печатаете?

— Двухнедельный отчет.

— Почему он до сих пор не готов?

— Я…

— Придется проверить.

«Странно видеть, как берут верх случайные обстоятельства, как проступает наружу огромная темная сила, та самая, что приводит в смятение бескрайние девственные леса, та самая, что растет, ширится, неистово бьет ключом повсюду, где только затевается большое дело». Ривьер думал о том, как под натиском тонких лиан рушатся гигантские храмы.

«Большое дело…»

Ривьер пытался убедить самого себя:

«Эти люди… Я люблю их. Я борюсь не с ними, а с тем злом, которое действует через них…»

Его сердце билось короткими, быстрыми ударами, причиняя боль.

«Я не знаю, хорошо ли то, что я делаю. Не знаю точной цены ни человеческой жизни, ни справедливости, ни горю. Не знаю толком, чего стоит радость человека! Не знаю, чего стоит дрожащая

рука. И какова цена жалости и ласке…»

Он грезил наяву:

«Жизнь полна противоречий… Каждый выпутывается из них, как может… Но завоевать право на вечность, но творить — в обмен на свою бренную плоть…»

После краткого раздумья Ривьер позвонил.

— Передайте пилоту европейского почтового: пусть зайдет ко мне перед вылетом.

И подумал:

«Нельзя допустить, чтобы этот почтовый опять делал крюк. Если я не встряхну как следует моих людей, они никогда не отделаются от страха перед ночью».

10

Жена пилота, разбуженная телефонным звонком, посмотрела на мужа, подумала:

— Пусть еще немного поспит.

Она любовалась его могучей обнаженной грудью; в ее воображении возникал красавец корабль.

Он спал в своей мирной постели, как в гавани, и, чтобы ничто не тревожило его сон, она расправляла пальцем складки, словно прогоняя тени, словно разглаживая легкую зыбь и успока-

ивая постель; так прикосновение божественных пальцев смиряет море.

Она встала, открыла окно, подставила лицо ветру. Из окна открывался весь Буэнос-Айрес. В соседнем доме танцевали; ветер доносил обрывки мелодий — был час развлечений и отдыха. Город запрятал людей в свои сто тысяч крепостей; кругом все дышало спокойствием и уверенностью; но женщине казалось, — что вот-вот раздастся призыв: «К оружию!» — и на этот клич отзовется один-единственный человек, ее муж. Он еще спал, но то был тревожный сон военных резервов, которые скоро будут брошены в бой. Дремлющий город не защищал его; жалкими покажутся летчику городские огни, когда он, молодой бог, взлетит над их пылью. Жена посмотрела на сильные ладони, которым через час будет вручена судьба европейского почтового, ответственность за что-то большое, подобное судьбе целого города. И в нее закралась тревога. Этот человек — один среди миллионов людей — был предназначен для этого необычного жертвоприношения. Ей стало тоскливо. Он уйдет, ускользнет от ее нежности. Она лелеяла, ласкала, охраняла его не для себя, а для сегодняшней ночи, и эта ночь сейчас возьмет его — для битв, для тревог, для побед, о которых

она никогда ничего не узнает. Ей удалось на какое-то короткое время приручить эти нежные руки, но она лишь смутно представляла себе их истинное назначение. Она знала улыбку этого человека, знала чуткость влюбленного; но она не знала, как божественно гневен бывает он, оказавшись в сердце грозы. Она обвивала его нежными путами любви, музыки, цветов; но в час отлета он неизменно сбрасывал эти путы и, видимо, ничуть не сожалел об этом.

Он открыл глаза.

— Который час?

— Полночь.

— Какая погода?

— Не знаю…

Он поднялся. Потягиваясь, медленно подошел к окну.

— Пожалуй, я не замерзну сегодня. А какое направление ветра?

— Ты так спрашиваешь, словно я знаю такие вещи… Он нагнулся.

— Южный. Прекрасно! Такой ветер удержится по меньшей мере — до Бразилии.

Он увидел луну и почувствовал себя совсем богатым. Потом перевел взгляд вниз, на город.

Город, не был сейчас для него ни желанным, ни

светлым, ни теплым. Он уже видел, как развеивается по ветру бесполезная пыль огней большого города.

— О чем ты думаешь?

Он думал о том, что возле Порто-Аллегре возможен туман.

— *У* меня своя тактика. Я знаю, как его обойти.

Он все еще смотрел, наклонившись, в окно и глубоко дышал, словно обнаженный пловец перед прыжком в море.

— Ты как будто не очень грустишь… На сколько дней ты улетаешь?

— На восемь, на десять дней. — Он точно не знает. И отчего ему грустить?.. Равнины, горы, города — он отправляется покорять их. Он — вольная птица. Не пройдет и часа — он будет держать в руках весь Буэнос-Айрес, а потом — отбросит его назад.

Он улыбнулся:

— Этот город… Я так скоро окажусь вдали от него. Хорошо улетать ночью! Повернешься к югу, включишь газ, и через десять секунд весь пейзаж уже опрокинут, и ты летишь на север. И город под тобой — как морское дно.

Она подумала — от скольких вещей должен отказаться завоеватель…

— Ты не любишь свой дом?

— Я люблю свой дом…

Но Жена знала, что он уже был далеко от нее. Его широкие плечи уже раздвигали небосвод.

Она показала ему на небо.

— Смотри, что за погода! Твоя дорога вымощена звездами.

Он рассмеялся.

— Да.

Положив руку ему на плечо, она с волнением почувствовала прохладу его кожи. И этому телу угрожает опасность!..

— Я знаю: ты сильный. Но будь благоразумен.

— Ну, конечно, я благоразумен…

И опять рассмеялся.

Он начал одеваться. Отправляясь на свой праздник, он наряжался в самые грубые ткани, в самую тяжелую кожу; он одевался, как крестьянин. И чем тяжелее он становился, тем больше она любовалась им. Она помогла ему застегнуть пряжку пояса, натянуть сапоги.

— Эти сапоги жмут.

— Вот другие.

— Отыщи-ка шнур, чтобы привязать запасную лампу.

Она оглядела мужа, в последний раз проверила

его доспехи. Все пригнано, как следует.

— Как ты красив!

Он тщательно причесывался.

— Это для звезд?

— Это — чтоб не чувствовать себя стариком.

— Я ревную…

Он снова рассмеялся, обнял ее, прижал к своей тяжелой одежде. Потом взял ее, как маленькую девочку, на руки и — все с тем же смехом — положил на Кровать:

— Спи!

Закрыв за собой дверь, он вышел на улицу и среди преображенной мраком толпы сделал свой первый шаг к завоеванию ночи.

Она осталась одна. Печально смотрела она на цветы, на книги — на все то нежное, мягкое, что для него было лишь морским дном.

11

Его принимает Ривьер.

— В последнем рейсе вы выкинули номер. Пошли в обход. А метеосводки были прекрасные, вы свободно могли пройти напрямик. Испугались?

Захваченный врасплох, пилот молчит, медленно трет ладони. Потом поднимает голову и смотрит Ривьеру прямо в глаза:

— Да.

В глубине души Ривьеру жаль этого смелого парня, который вдруг ощутил страх.

Пилот оправдывается:.

— Я больше ничего не видел. Конечно, радио сообщало, это верно… Может быть, дальше… Но бортовой огонь почти погас, я даже собственных рук не видел. Хотел включить головной огонь, чтобы хоть крыло разглядеть, — все тот же мрак. Показалось, что я — на дне огромной ямы и из нее — не выбраться. А тут еще мотор стал барахлить…

— Нет.

— Нет?

— Нет. Мы его потом осмотрели. Мотор в полном порядке. Но стоит испугаться — и сразу кажется, что мотор барахлит.

— Да как было не испугаться! На меня давили горы. Хотел набрать высоту — попал в завихрение. Вы сами знаете: когда ничего не видишь — и еще завихрения… Вместо того чтобы подняться, я потерял сто метров. И уже не видел ни гироскопа, ни манометров. И стало казаться, что режим мотора падает, что он перегрелся, что давление масла… И все это — в темноте. Как болезнь… Ну и обрадовался я, когда увидел освещенный город!

— У вас слишком богатое воображение. Идите.

И пилот выходит.

Ривьер поглубже усаживается в кресло, проводит рукой по седым волосам.

«Это самый отважный из моих людей. Он вел себя в тот вечер прекрасно. Но я избавлю его от страха...»

И снова, как минутная слабость, возник перед ним соблазн:

«Чтобы тебя любили, достаточно проявить жалость. Я никого не жалею или скрываю свою жалость. А как хотелось бы окружить себя дружбой, теплотой! Профессия врача дает ему такое право. А я направляю ход событий. Я должен выковывать людей, чтобы и они направляли ход событий. Вечером, в кабинете, перед пач-.ю путевых листов особенно остро ощущаешь этот неписаный закон. Стоит мне только ослабить внимание, позволить твердо упорядоченным событиям плыть по течению — и тотчас, как по волшебству, возникают аварии. Словно моя воля — только она одна — не дает самолету разбиться, не дает буре задержать его в пути. Порой сам поражаешься своей власти».

Он продолжает размышлять:

«И в этом нет, пожалуй, ничего странного. Так и

садовник на своем газоне ведет постоянную борьбу… Извечно вынашивает в себе земля дикий, первозданный лес; но простая тяжесть человеческой руки ввергает его обратно в землю».

Он думает о пилоте:

«Я спасаю его от страха. Я нападаю не на него, а на то темное, сопротивляющееся начало, что парализует людей, столкнувшихся с неведомым. Если я буду его слушать, жалеть, принимать всерьез его страхи, тогда он поверит, что и в самом деле побывал в некоей загадочной стране; а ведь именно тайны — и только ее — он и боится; нужно, чтобы никакой тайны не осталось. Нужно, чтобы люди опускались в этот мрачный колодец, выбирались из него наружу и говорили, что не встретили там ничего загадочного. Нужно, чтобы вот этот самый человек проник в самое сердце, в самую таинственную глубь ночи, в, ее толщу, не имея при этом даже своей шахтерской лампочки, которая освещает только руки или крыло, — и чтобы он своими широкими плечами отодвинул прочь Неведомое».

И все же даже в этой борьбе Ривьера и его пилотов связывало молчаливое братство. Они были людьми одной закалки, ими владела та же жажда победы. Но Ривьер помнил и о других битвах,

которые приходилось ему вести за покорение ночи.

В официальных кругах на мрачные владения ночи смотрели с опаской, как на неисследованные лесные дебри. Заставить экипаж устремиться со скоростью двухсот километров в час навстречу бурям, туманам и всем тем препятствиям, что таит в себе ночь, представлялось им рискованной авантюрой, допустимой лишь в военной авиации: вылетаешь с аэродрома в безоблачную ночь, проводишь бомбежку — и той же ночью возвращаешься на тот же аэродром. Но регулярные ночные рейсы обречены на неудачу.

«Ночные полеты — это для нас вопрос жизни и смерти, — отвечал Ривьер. — Каждую ночь мы теряем полученный в течение дня выигрыш во времени, который составляет наше преимущество перед железной дорогой и пароходом».

Ривьер с досадой и скукой слушал все эти разговоры: финансовая сторона дела, безопасность, общественное мнение… «Общественное мнение, — возражал он, — его нужно создать». Он думал: «Сколько времени пропадает напрасно! И все же есть в жизни нечто такое, что всегда побеждает! Живое должно жить, и для того, чтобы жить, оно сметает с пути все помехи. Для

того, чтобы жить, оно создает свои собственные законы. Оно неодолимо». Ривьер не знал, когда гражданская авиация овладеет ночными полетами, не знал, какими путями она это совершит, но он знал, что это решение неизбежно будет принято и что подготавливать его нужно уже сейчас.

Ему вспоминаются зеленые скатерти, за которыми он сидел, уперев подбородок в кулак и слушая со странным ощущением собственной силы бесконечные возражения. Эти возражения казались ему бесцельными, осужденными на гибель самой жизнью. И он чувствовал, как растет, наливаясь тяжестью, его сила. «Мои доводы неопровержимы; победа будет за мной, — думал Ривьер. — К этому ведет естественный ход событий».

Когда от него требовали каких-то гарантий, каких-то решений, устраняющих всякий риск, он отвечал:

— Законы выводятся на основании опыта; познание законов никогда не предшествует опыту.

После долгого года борьбы Ривьер добился своего.

«Добился благодаря своей убежденности», — говорили одни. «Благодаря своему упорству, медвежьей силе, которая крушит все на пути», —

заявляли другие. «Просто потому, что я избрал верное направление», — думал сам Ривьер.

Но сколько предосторожностей пришлось принимать вначале! Самолеты вылетали с аэродрома лишь за час до рассвета и приземлялись не позже, чем через час после захода солнца. И, лишь накопив некоторый опыт, Ривьер решился послать почтовые самолеты в глубины ночи. Почти лишенный последователей, осуждаемый чуть ли не всеми, в одиночестве вел он теперь свою борьбу.

Ривьер звонит, чтобы узнать, каковы последние сообщения с борта самолетов.

12

Тем временем патагонский почтовый вплотную подошел к буре, и Фабьен отказался от мысли обойти ее стороной. Он понял, что гроза охватила слишком большое пространство: линия молний уходила далеко вглубь, озаряя бастионы туч. Он решил сделать попытку пройти под грозой, нырнуть под нее, и только если это не удастся— лечь на обратный курс.

Он посмотрел на альтиметр. Тысяча семьсот метров. Нажал ладонями на штурвал, чтобы

начать снижение. Мотор сразу стал сильно вибрировать, самолет весь задрожал. Фабьен на глаз выправил угол снижения, потом по карте проверил высоту холмов: пятьсот метров. Чтобы сохранить разрыв между собой и холмами, он решил идти на высоте семисот.

Фабьен жертвовал высотой, как ставят на карту все состояние.

Самолет попал в завихрение, провалился вниз и задрожал еще сильнее. Фабьен почувствовал, что ему угрожает невидимый обвал. Словно во сне, он представил себе, как машина поворачивает назад и возвращается в мир ста тысяч звезд… Но Фабьен не меняет курса ни на один градус.

Пилот взвешивает… Возможно, гроза носит лишь местный характер. Ведь Трилью — ближайший аэропорт — сообщил, что небо закрыто на три четверти. Значит, в этой черной, плотной, как бетон, массе, ему предстоит прожить всего каких-нибудь двадцать минут. И все же пилот в тревоге. Наклонившись влево, навстречу упругому ветру, он пытается найти те смутные проблески, которые обычно пробивают даже самую непроглядную ночную темь. Но сейчас нет даже проблесков — лишь едва заметные изменения плотности в толще мрака. Быть может, его

просто обманывает утомленное зрение.

Он развертывает записку радиста:

«Где мы?»

Фабьен дорого дал бы за то, чтобы знать это. Он отвечает: «Не знаю. Идем по компасу сквозь грозу».

Он опять наклоняется. Его беспокоит пучок выхлопного пламени, повисший на моторе, как огненный букет; пламя так бледно, что, появись луна, оно тотчас растворилось бы в лунном свете; но в этом мраке небытия оно вбирает в себя весь зримый мир. Пилот видит, как ветер туго сплетает языки огня, похожие на пылающие факелы.

Каждые тридцать секунд Фабьен нагибается к приборам, чтобы проверить гироскоп и компас. Он не решается больше включать красные лампочки: они надолго ослепляют его; но от приборов со светящимися циферблатами льется бледное звездное сияние. Здесь, среди стрелок и цифр, пилот испытывает обманчивое чувство безопасности; такое ощущение бывает у человека в каюте корабля, когда волны перекатываются через палубу. С такой же ужасающей неумолимостью на самолет катится ночь и вместе с ней все, что несет она в своем мраке: скалы, обломки, холмы…

«Где мы?» — снова спрашивает радист.

Фабьен опять наклоняется влево и возобновляет свое угрюмое бдение. Он уже не знает, сколько времени и сколько усилий понадобится ему, чтобы избавиться от этих мрачных уз. Фабьен даже начинает сомневаться, удастся ли ему вообще когда-нибудь от них освободиться; он поставил свою жизнь на карту — на эту грязную и скомканную бумажку, которую Фабьен разворачивает и читает в тысячный раз, чтобы почерпнуть в ней надежду. «Трилью: небо закрыто на три четверти, ветер западный, слабый». Если Трилью закрыт на три четверти, то в разрывах туч можно будет разглядеть его огни. Если только…

Эта слабая надежда побуждает Фабьена продолжать путь вперед, но сомнения не оставляют его; он кое-как нацарапывает радисту: «Не знаю, смогу ли пробиться. Узнайте, по-прежнему ли ясно позади нас».

Ответ удручающий:

«Коммодоро передает: вернуться сюда невозможно. Буря».

Фабьен начинает догадываться: невиданная буря, свирепствующая над Андийскими Кордильерами, переменила фронт и двинулась к морю. Прежде чем Фабьен сможет добраться до городов,

на них обрушится циклон.

«Узнайте погоду в Сан-Антонио».

«Сан-Антонио отвечает: поднимается западный ветер; на западе — буря. Небо закрыто полностью. В Сан-Антонио очень плохая слышимость: помехи. Я тоже плохо слышу. Думаю, скоро придется убрать антенну — мешают разряды. Не собираетесь ли повернуть? Каковы ваши планы?»

«Оставьте меня в покое. Запросите погоду в Байя-Бланке».

«Байя-Бланка отвечает: меньше чем через двадцать минут с запада обрушится на Байя-Бланку сильная гроза».

«Запросите Трилью о погоде».

«Трилью отвечает: с запада идет ураган скоростью тридцать метров в секунду. Шквалы дождя».

«Передайте в Буэнос-Айрес: заперты со всех сторон; фронт бури развертывается на тысячу километров; полная потеря видимости. Что мы должны делать?»

Для пилота эта ночь была безбрежной. Она не вела ни к порту (все они казались недоступными), ни к рассвету — через час сорок минут должен

был кончиться бензин. Рано или поздно они, так ничего и не видя, рухнут в эту бездну.

Если б только дождаться рассвета…

Утренняя заря представлялась Фабьену золотым песчаным пляжем, к которому их могло прибить после испытаний страшной ночи. Под крылом попавшего в беду самолета возникли бы спасительные берега равнин. Мирная земля несла бы свои спящие фермы, свои стада, свои холмы. Все те неведомые предметы, что перекатываются сейчас во мраке, вмиг приобрели бы безобидный вид. О, если б только было можно — как устремился бы он навстречу дню!..

Он подумал: «Кольцо замкнулось». Так или иначе — все должно решиться еще до рассвета в этой плотной массе тьмы.

Только так… А бывало, первые часы рассвета приносили ему исцеление…

Но теперь незачем смотреть на восток, туда, где живет солнце: между самолетом и солнцем пролегли бездонные глубины ночи; из них — не выбраться.

13

— Почтовый из Асунсьона идет хорошо. К двум часам будет здесь. Но предвидится серьезное

опоздание патагонского почтового; ему, видимо, приходится нелегко.

— Так, господин Ривьер.

— Весьма возможно, мы дадим отправление европейскому самолету, не дожидаясь прибытия патагонского. Вы получите распоряжения, как только прибудет асунсьонский. Будьте наготове.

Теперь Ривьер перечитывал телеграммы, принятые от северных аэропортов. Они расстилали перед европейским почтовым лунную дорожку: «Небо чистое, полная луна, ветра нет». Горы Бразилии, четко выделяясь на фоне светящегося неба, окунали в серебристые воды моря свои поросшие черным лесом вершины. На этот лес, не окрашивая его, лились непрестанным дождем лунные лучи. И острова — тоже черные, как обломки кораблекрушения в морских волнах. И эта неистощимая луна на всем пути — брызжущий светом фонтан…

Если Ривьер разрешит отправление, экипаж европейского почтового вступит в прочный мир мягкого, струящегося сияния. В мир, где ничто не грозит нарушить равновесие между массами мрака и света. В мир, куда не проникают даже ласковые прикосновения тех легких ветерков, которые — стоит им слегка покрепчать — мо-

гут в несколько часов забить все небо гнилыми тучами.

И все же, глядя на это сияние, Ривьер колебался, подобно золотоискателю, остановившемуся у границы запретного участка. То, что творилось сейчас на юге, звучало обвинительным приговором Ривьеру, единственному защитнику ночных полетов. Катастрофа в Патагонии может настолько укрепить моральные позиции его противников, что, быть может, его убежденность окажется перед ними бессильной. Но это не означало, что убежденность Ривьера была поколеблена; драма могла явиться следствием какого-то просчета — и она свидетельствовала только об этом частном просчете, больше ни о чем. «Быть может, надо установить наблюдательные пункты на западе… Нужно будет подумать об этом… Как бы то ни было, у меня все те же веские основания стоять на своем; теперь возможность несчастных случаев уменьшится: одна из причин стала ясна…» Неудачи закаляют сильных. К сожалению, с людьми приходится вести игру, в которой так мало берется в расчет истинный смысл вещей. Выигрыш или проигрыш зависит от каких-то чисто внешних причин. И обманчивая видимость проигрыша связывает тебя по

рукам и ногам.

Ривьер позвонил.

— От Байя-Бланка по-прежнему нет радиограмм?

— Нет.

— Вызовите ее по телефону.

Пять минут спустя он спрашивал:

— Почему от вас нет сообщений?

— Мы не слышим самолета.

— Он молчит?

— Неизвестно. Кругом грозы. Даже если он что-то передает, мы не слышим.

— А Трилью слышит его?

— Мы сами не слышим Трилью.

— Позвоните туда по телефону.

— Мы пытались. Линия повреждена.

— Какая у вас погода?

— Угрожающая. Молнии на западе и юге. Очень душ по.

— Какой ветер?

— Пока слабый. Но это не больше чем на десять минут. Молнии быстро приближаются.

Молчание.

— Байя-Бланка! Вы меня слышите? Хорошо. Позвоните мне через десять минут.

И Ривьер стал перелистывать телеграммы

южных аэропортов. Все сообщали одно и то же: самолет молчит. Некоторые аэродромы больше не отвечали Буэнос-Айресу, и на карте все росло пятно немых районов, где над маленькими городками уже разразился циклон, где плотно закрыты все двери и каждый дом на темных улицах отрезан, подобно кораблю, от мира и затерян в ночи. Только рассвет принесет им освобождение.

Но, склонившись над картой, Ривьер все еще не терял надежды обнаружить где-нибудь благословенный кусок чистого неба; он обратился по телеграфу к полиции более чем тридцати провинциальных городов, запрашивая о состоянии погоды, и ответы уже начинали поступать. Каждая из радиостанций, расположенных на линии протяженностью в две тысячи километров, получила приказ: поймав позывные самолета, немедленно, в течение тридцати секунд, уведомить об этом Буэнос-Айрес, который в ответ сообщит ей для передачи Фабьену, куда он может укрыться.

Комнаты опять заполнились служащими, которых к часу ночи вызвали в контору. Какими-то таинственными путями узнали они, что ночные полеты, возможно, будут прекращены и что даже европейский почтовый будет отныне вылетать

лишь с рассветом. Понизив голос, они говорили о Фабьене, о циклоне — и особенно о Ривьере. Они угадывали его присутствие, чувствовали, что он сидит здесь, совсем рядом, подавленный ураганом — этим враждебным выступлением самой природы.

Вдруг все голоса смолкли: в дверях появился Ривьер — в пальто, в шляпе, неизменно надвинутой на глаза, — вечный путешественник. Он спокойно подошел к заведующему бюро:

— Сейчас десять минут второго. Документы европейского почтового уже оформлены?

— Я… я думал…

— Вы должны не думать, а исполнять.

Он повернулся и, заложив руки за спину, медленно пошел к открытому окну.

К нему подбежал служащий:

— Господин директор, получено очень мало ответов. Сообщают, что во внутренних районах уже разрушены многие телеграфные линии…

— Хорошо.

Неподвижно застыв, Ривьер смотрел в ночь.

Итак, каждая новая весть несла в себе угрозы самолету. Каждый город, если линии связи еще не были разрушены и он имел возможность ответить Буэнос-Айресу, сообщал о неумолимом

движении циклона, словно о вторжении вражеских армий. «Буря идет из глубины материка, с Кордильер. Опа движется к морю, сметая все на пути…»

Звезды казались Ривьеру чересчур яркими, воздух — слишком влажным. Странная ночь! Она внезапно начинала подгнивать — подгнивать слоями, как мякоть роскошного с виду плода. Над Буэнос-Айресом еще царили в полном своем составе звезды; но это был лишь оазис, притом недолговечный. К тому же это был порт, недосягаемый для экипажа. Грозная ночь, гниющая под прикосновениями этого ветра. Ночь, которую нелегко победить.

Где-то в ее глубинах затерялся самолет, и на его борту — беспомощные, охваченные тревогой люди.

14

Жена Фабьена позвонила по телефону.

В те ночи, когда он должен был вернуться, она всегда высчитывала время продвижения патагонского почтового. «Сейчас он вылетает из Трилью…» — и опять засыпала. Немного позже: «Он должен приближаться теперь к Сан-Антонио; он уже видит его огни…» Тогда она вставала,

раздвигала шторы и осматривала небо. «Все эти облака мешают ему…» Иногда между тучами, как пастух, расхаживала луна. И молодая женщина возвращалась в постель, успокоенная луной и звездами, присутствием этих тысяч существ, окружавших ее мужа. Около часа ночи она обычно чувствовала, что он уже близко. «Должно быть, он недалеко… Он уже видит Буэнос-Айрес…» *И* снова вставала, готовила для него еду, варила горячий кофе: «Там, наверху, так холодно…» Каждый раз она встречала Фабьена так, словно тот спустился со снежных вершин: «Ты не замерз?» — «Да нет же!» — «Все же согрейся немного…» К четверти второго у нее все бывало готово. Тогда она звонила.

В эту ночь она спросила, как всегда:

— Фабьен уже приземлился?

Секретарь, взявший трубку, замялся:

— Кто говорит?

— Симона Фабьен.

— О, одну минуту…

Не осмеливаясь ничего сказать, секретарь передал трубку заведующему бюро.

— Кто у телефона?

— Симона Фабьен.

— А!.. Слушаю вас, мадам.

— Мой муж приземлился?

Последовало молчание, показавшееся ей необъяснимым. Затем — короткий ответ:

— Нет.

— Он опаздывает?

— Да…

Снова молчание.

— Да… опаздывает.

— О!..

Это был вздох раненой плоти. Опоздание — пустяк… пустяк… Но если око затягивается…

— О!.. В котором часу он должен прибыть?.

— В котором часу он должен прибыть?.. Мы… мы не знаем.

Теперь перед ней была стена. Она слышала лишь эхо своих вопросов.

— Умоляю, ответьте мне! Где он сейчас?..

— Где он сейчас? Подождите…

Медлительность этих людей причиняла ей боль. Там, за стеной, что-то происходило.

Наконец, они решились:

— Он вылетел из Коммодоро в девятнадцать тридцать.

— И с тех пор?..

— С тех пор… сильно опаздывает… сильно опаздывает из-за плохой погоды…

— О! Из-за плохой погоды…

Какая несправедливость! И какое вероломство — в этой луне, праздно повисшей над Буэнос-Айресом!.. Молодая женщина вспомнила вдруг, что от Коммодоро до Три-лью — каких-нибудь два часа полета, не больше.

— И целых шесть часов летит он до Трилью?! Но посылает же он вам радиограммы… Что он говорит?

— Он говорит? Разумеется, в такую погоду… Вы сами понимаете… его радиограммы до нас не доходят.

— В такую погоду!..

— Итак, мадам, решено: мы позвоним вам, как только что-нибудь узнаем.

— О, вы ничего не знаете…

— До свиданья, мадам.

— Нет! Нет! Я хочу говорить с директором!

— Господин директор очень занят, мадам, он на совещании.

— Мне это безразлично! Совершенно безразлично! Я хочу с ним говорить!

Заведующий бюро вытер капли пота со лба:

— Одну минуточку…

Он открыл дверь Ривьера.

— С вами хочет говорить госпожа Фабьен.

«Вот оно, — подумал Ривьер, — вот начинается то, чего я боялся». На первый план драмы выступают чувства… Вначале Ривьеру хотелось их отвергнуть: матерей и жен не допускают в операционную. И на корабле в минуту опасности чувства должны молчать. Они не помогают спасению людей… Однако он решил:

— Соедините ее с моим кабинетом.

Он услышал далекий голос, слабый, дрожащий, и тотчас понял, что не сможет сказать ей правду. Скреститься сейчас в поединке — разве хоть одному из них это принесло бы какую-нибудь пользу?

— Мадам, прошу вас, успокойтесь! В нашем деле так часто приходится подолгу ждать вестей.

Он приблизился к той грани, за которой возникала уже не проблема беды отдельного частного человека — возникала проблема действия как такового. Ривьеру противостояла не жена Фабьена, а совершенно иное понимание жизни. Ривьер мог только слушать и сочувствовать этому слабому голосу, этой песне, такой грустной и такой враждебной. Ибо ни действие, ни личное счастье не могут ничем поступиться, — они пришли в столкновение. Эта женщина тоже выступала от имени некоего мира, имевшего свою абсолютную

ценность, свое понимание долга и свои права. От имени мира, где горит лампа над столом, где плоть взывает к плоти, где живут надежды, ласки и воспоминания. Она требовала вернуть то, что ей принадлежало, и она была права. Он, Ривьер, тоже быт прав; но он не мог ничего противопоставить правде этой женщины. В свете жалкой домашней лампы его собственная правда открывалась ему как нечто не поддающееся выражению, бесчеловечное…

— Мадам…

Она больше не слушала. Ему казалось, что она упала почти у самых его ног, истощив силу своих слабых кулаков в борьбе с этой глухой стеной.

Как-то один инженер сказал Ривьеру, наклоняясь вместе с ним над раненым, лежавшим возле строящегося моста: «Сто́ит ли этот мост того, чтобы ради него было изувечено человеческое лицо?» Ни один из крестьян, для которых предназначалась эта дорога, для которых строился этот мост, ни один из них не согласился бы, ради сокращения пути, так страшно изуродовать чье-то лицо. И все же мосты строятся… Инженер тогда же добавил: «Общественная польза складывается из суммы индивидуальных польз; и ни на чем другом основана быть не может». — «И все же, —

ответил ему позже Ривьер, — хоть человеческая жизнь и дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь… Но что?..»

И сейчас, когда Ривьер думал об экипаже Фабьена, у него сжималось сердце. Всякая деятельность — даже строительство мостов! — разбивает чье-то счастье, и Ривьер не мог не спросить себя: «Во имя чего?»

«Эти люди, которым, вероятно, суждено сегодня погибнуть, — думал Ривьер, — могли бы жить, счастливо жить». Он видел лица, склонившиеся пред золотыми алтарями вечерних ламп. «Во имя чего оторвал я их от домашнего уюта?» Во имя чего вырвал он этих людей из мира личного счастья? Разве первейший долг не в том, чтобы охранять это счастье? И вот он сам разбивает его. Но ведь рано или поздно — все равно наступает момент, когда золотые алтари исчезают, как миражи в пустыне. Старость и смерть разрушают их еще более безжалостно, чем он, Ривьер. Может быть, существует все же что-то иное, более прочное, и именно оно нуждается в спасении? Может быть, во имя этой стороны человеческой жизни и трудится Ривьер? Иначе — его деятельность лишена смысла.

«Любовь, одна любовь — какой тупик!» Ривьер смутно чувствовал, что есть какой-то иной долг, который выше, чем долг любви. Вернее, и здесь речь также шла о нежности, но сама эта нежность была совсем особого рода. Ему вспомнилась фраза: «Задача в том, чтобы дать им бессмертие…» Где он читал эти слова? «Внутри самого себя не найдешь бессмертия». Перед ним возник образ: храм в честь бога Солнца, воздвигнутый перуанскими инками. Прямоугольные камни на вершине горы… Если бы их не было — что осталось бы от могучей цивилизации, которая, словно укор совести, давит тяжестью этих камней на современного человека? «Во имя какой суровой необходимости — или странной любви — вождь древних народов принудил толпы своих подданных возвести этот храм на вершине и тем самым заставил их воздвигнуть вечный памятник самим себе?» И снова Ривьер мысленно увидел толпы жителей маленьких городков, что кружатся вечерами вокруг музыкальных беседок… «Этот вид счастья — что конская сбруя», — подумал он. Перед лицом человеческих страданий вождь древних народов, вероятно, не чувствовал никакой жалости; но он ощущал безграничную жалость перед лицом

человеческой смерти… Не смерти отдельных людей — он жалел весь род человеческий, чья участь — исчезнуть под океанами песка. И он побуждал свой народ воздвигать хотя бы камни, перед которыми бессильна пустыня.

15

Может быть, в этой сложенной вчетверо записке — спасение… Стиснув зубы, Фабьен разворачивает ее.

«Связаться, с Буэнос-Айресом невозможно. Я даже не могу больше работать ключом — искры бьют в пальцы».

Разозленный Фабьен хочет написать ответ; но стоит ему на миг отпустить штурвал, как мощная волна пронизывает тело: воздушные водовороты приподнимают его вместе с пятью тоннами металла и швыряют в сторону. Он отказывается от попыток писать.

Его руки снова сходятся на загривке волн — и усмиряют их.

Фабьен тяжело дышит. Если бортрадист, боясь грозы, убрал антенну, Фабьен разобьет ему морду — дайте только приземлиться!.. Необходимо во что бы то ни стало, любой ценой связаться с Буэнос-Айресом! Как будто из Буэнос-Айреса,

удаленного более чем на полторы тысячи Километров, им могут бросить веревку сюда, в эту бездну… Увидеть хотя бы огонек, хотя бы трепетный свет лампы какого-нибудь постоялого двора! Даже это в сущности бесполезное мерцание могло бы сейчас послужить маяком; оно говорило бы о твердой земле. Но за неимением света Фабьен мечтает хотя бы о голосе, об одиноком голосе из того мира, который, казалось, перестал существовать. Пилот поднимает кулак и машет им в красноватом свете кабины: он хочет передать этим жестом тому, другому, сидящему сзади, весь трагизм их положения. Но радист, склонившийся над опустошенным пространством, над погребенными городами, над мертвыми огнями, его не понимает.

Фабьен готов последовать любому совету — только бы этот крик участия дошел до него! Он думает: «Если бы мне сказали — лети по кругу, я полетел бы по кругу… И если бы мне сказали: иди прямо на юг…» А где-то существуют земли, объятые сладкой тишиной, земли, на которые легли огромные лунные тени. И над этими землями уверенно летят его товарищи, зная все о том, что находится под ними; летят, склонившись, как ученые, над картами, летят, всемогущие, под

защитой ламп, прекрасных, как цветы… А что известно ему, кроме водоворотов, кроме ночи, которая гонит со скоростью обвала в горах свой бешеный черный поток навстречу самолету?.. Не могут же все оставить их здесь одних — среди смерчей и огненных вспышек. Не могут. Фабьен обязательно получит приказ. «Курс двести сорок…» Он ляжет на курс двести сорок… Но он — один.

Теперь ему кажется, что сама материя взбунтовалась. Каждый раз, как машина ныряет вниз, мотор начинает так сильно вибрировать, что всю массу самолета пронизывает гневная дрожь. Выбиваясь из сил, Фабьен старается усмирить машину; он больше не смотрит в ночь; он сидит теперь, глядя на гироскоп; все равно уже не различить, где кончается черная масса неба и начинается черная масса земли. Все теряется, все сливается в первозданном мраке. А стрелки приборов дрожат все сильнее. И все труднее становится следить за ними. Обманутый их показаниями, пилот уже с трудом ориентируется; он теряет высоту и все больше увязает в зыбучей тьме.

Прибор показывает высоту пятьсот метров. Это — высота холмов. Пилоту чудится, что холмы

катятся навстречу самолету головокружительными волнами. Что все эти глыбы земли, самая маленькая из которых может вдребезги разбить самолет, будто сорвались со своих креплений, отвинтились и начинают, как пьяные, кружить вокруг него, танцуя какой-то непостижимый танец, все теснее и теснее смыкая кольцо.

И пилот принимает решение. Он посадит самолет где придется, с риском расплющить его о землю. И, желая избежать хотя бы столкновения с холмами, он выпускает в ночь свою единственную осветительную ракету. Ракета вспыхивает, взвивается, кружась, и, осветив гладкую равнину, гаснет. Под самолетом — море.

Молнией мелькает мысль: «Погиб. Даже при поправке в сорок градусов — меня снесло. Это циклон. Где же земля?»

Фабьен поворачивает прямо на запад. Он думает: «Уж теперь-то, без ракеты, я разобьюсь». Рано или поздно— это должно было случиться. А его товарищ — там, позади… «Он снял антенну — наверняка». Но Фабьен больше на него за это не сердится. Достаточно ему, пилоту, просто разжать руки — и тотчас их жизнь рассыплется горсточкой бесполезной пыли. Фабьен держит в своих руках два живых бьющихся сердца —

товарища и свое… И вдруг он пугается своих собственных рук.

Воздушные вихри бьют по самолету с силой тарана. Чтобы ослабить сотрясения штурвала, которые могут оборвать провода управления, он изо всех сил вцепился руками в штурвал и ни на секунду не отпускал его. А теперь он вдруг перестает ощущать свои руки — они как бы заснули, утомленные страшным усилием. Он захотел пошевелить пальцами, получить от них весточку, подтверждающую, что они еще слушаются его. Руки оканчиваются не пальцами, а чем-то чужим. Какими-то вялыми и бесчувственными отростками. «Нужно изо всех сил думать, что я сжимаю пальцы…» Но он не знает, дойдет ли эта мысль до его рук. Сотрясения штурвала Фабьен чувствует теперь только по боли в плечах. «Штурвал ускользнет от меня. Руки разожмутся». Но он пугается этой мысли; ему кажется, что на этот раз руки могут подчиниться таинственной силе воображения, что пальцы медленно разжимаются в темноте — и предают его.

Фабьен мог бы продолжить сражение; он мог еще и и еще раз попытать счастья; ведь рок — как внешняя сила — не существует. Но существует некий внутренний рок: наступает момент, когда

человек вдруг чувствует себя уязвимым, — и тогда ошибки затягивают его, как головокружение…

Именно в один из таких моментов грозовые тучи внезапно разорвались, и прямо над его головой в их разрыве засверкала, словно приманка в глубине таящих гибель силков, кучка звезд.

Он понял, что это — ловушка: видишь сквозь щель три звезды, поднимаешься к ним и потом уже не можешь спуститься — остается только грызть свои звезды…

Но пилот так изголодался по свету, что устремился вверх к звездам.

16

Он поднялся. Теперь благодаря звездным ориентирам стало немного легче справляться с болтанкой. Лучистый магнит звезд притягивает его к себе. Пилот так утомился в долгой погоне за светом! Он теперь ни за что не ушел бы даже от самого смутного мерцания. Огонек постоялого двора показался бы Фабьену сейчас таким богатством, что он кружился бы, не переставая, до самой смерти вокруг этого желанного знамения…

И вот он возносится к светлым полям.

Поднимается медленно, по спирали, будто взбираясь вверх по шахте колодца, которая тут же смыкается под ним. И, по мере того как Фабьен поднимается, тучи утрачивают свой грязный цвет, они плывут навстречу, как волны, и становятся все чище, все белее. И вот Фабьен вырывается из туч.

Он поражен, ослеплен неожиданными потоками света. Он должен на несколько секунд закрыть глаза. Никогда бы пилот не поверил, что ночные облака могут быть так ослепительно ярки — полная луна и блеск всех созвездий превратили их в лучезарные волны.

Одним прыжком вынырнув из туч, самолет в тот же миг оказался в царстве неправдоподобного покоя. Сюда не доходила ни малейшая зыбь. Подобно лодке, миновавшей мол, самолет вошел в защищенные воды. Он словно бросает якорь в неведомом уголке моря, в укромной бухте зачарованных островов. Внизу, под самолетом, бушует ураган; там — совсем другой мир, толща в три тысячи метров, пронизанная бешеными порывами ветра, водяными смерчами, молниями; но этот мир урагана обращает к звездам лицо из хрусталя и снега.

Фабьену мнится, что он достиг преддверия рая:

все вдруг стало сверкать — руки, одежда, крылья. Свет идет не от звезд; он бьет снизу, он вокруг, он струится из этих белых масс.

Тучи, распластавшиеся под самолетом, отражают снежный блеск, полученный ими от луны. Они блестят, лучатся и слева и справа, высокие, как башни. Экипаж купается в молочных потоках света. Обернувшись, Фабьен видит, как улыбается бортрадист.

— Дело пошло на лад! — кричит радист.

Но голос тонет в шуме полета, и единственной связью между ними остаются улыбки. «Я окончательно сошел с ума, — думает Фабьен. — Я улыбаюсь… А мы погибли».

Но все-таки тысячи темных рук выпустили их. С Фабьена сняли путы — как с пленника, которому позволено немного погулять в одиночестве среди цветов.

«Чересчур красиво», — думает Фабьен. Он блуждает среди звезд, которые насыпаны густо, как золотые монеты клада; он блуждает в мире, где, кроме него, Фабьена, и его товарища, нет ни одного живого существа. Подобно ворам из древней легенды, они замурованы в сокровищнице, из которой им никогда уже не выйти. Они блуждают среди холодных россыпей драгоценных камней

— бесконечно богатые, но обреченные.

17

Один из радиотелеграфистов патагонского аэродрома Коммодоро Ривадавия сделал вдруг резкое движение рукой, и сразу же все те, кто, томясь бессилием, нес этой ночью вахту на радиостанции, сгрудились вокруг него, нагнулись над его столом.

Они склонились к ярко освещенному листку чистой бумаги. Рука радиста еще колебалась в нерешительности, она еще держала в плену заветные буквы, но пальцы уже дрожали, карандаш покачивался.

— Грозы?

Он утвердительно кивнул головой. Треск разрядов мешал ему.

Вот радист начертил несколько неразборчивых значков. Потом — слова. И уже можно разобрать текст:

«Блокированы над ураганом на высоте три тысячи восемьсот. Идем прямо на запад в глубь материка, так как были снесены к морю. Под нами сплошная облачность. Не знаем, летим ли все еще над морем. Сообщите, как глубоко распространилась буря».

Чтобы передать эту радиограмму в Буэнос-Айрес, пришлось — из-за грозы — пересылать ее по цепочке, от станции к станции. Послание продвигалось в ночи, как сторожевой огонь, зажигаемый от вышки к вышке.

Буэнос-Айрес распорядился ответить:

— Буря над всем материком. Сколько у вас осталось бензина?

— На полчаса.

И эта фраза — от дежурного к дежурному — достигла Буэнос-Айреса.

Экипаж был обречен: меньше чем через тридцать минут он должен погрузиться в циклон, который понесет его к земле.

18

А Ривьер размышляет. Больше не остается ни малейшей надежды — экипаж погибнет где-то в ночи.

Ривьер вспоминает потрясшую его в детстве картину. Из пруда спускали воду, чтобы найти тело утопленника… И экипаж тоже не будет найден до тех пор, пока не схлынет с земли эта масса мрака, пока снова не проступят в дневном свете пески, равнины, хлеба. Быть может, простые крестьяне найдут двух детей, словно спящих с

закинутыми на лицо руками, лежащих среди травы и золота мирного дня. Но они мертвы — ночь уже потопила их.

Ривьер думает о сокровищах, погребенных в глубинах ночи, как в сказочных морях… Ночные яблони жадно ждут зари, ждут всеми своими цветами, которым еще не довелось раскрыться. Ночь богата, полна запахов, спящих ягнят, полна цветов, еще лишенных красок.

Тучные нивы, влажные рощи, прохладные луга медленно встанут навстречу заре. Но среди холмов, теперь совсем безобидных, среди пастбищ и ягнят, среди всей этой кротости земли останутся лежать, словно погрузившись в сон, двое детей. И какая-то частица зримого мира легкой струйкой перельется в мир иной.

Ривьер знает жену Фабьена, беспокойную и нежную: ей дали лишь прикоснуться к любви — так ненадолго дают игрушку бедному ребенку.

Ривьер думает о руке Фабьена, которая пока — еще несколько минут — держит штурвал, держит свою судьбу. О руке, которая умела ласкать. О руке, которая прикасалась к груди и рождала в ней волнение, словно рука бога. О руке, что прикасалась к лицу, и лицо преображалось. О чудотворной руке.

Фабьен летит сейчас над ночным великолепием облачных морей, но под этими морями — вечность. Он заблудился среди созвездий. Он — единственный житель звезд. Он пока еще держит мир в своих руках, укачивает его, прижав к груди. Фабьен сжимает штурвал, в котором заключен для него груз человеческих богатств, и несет в отчаянии от звезды к звезде бесполезное сокровище, которое ему придется выпустить из рук…

Ривьер думает о том, что радиостанция еще слышит Фабьена. Лишь одна музыкальная волна, полная минорных переливов, связывает еще Фабьена с миром. Не жалоба. Не крик. Нет, самый чистый из звуков, когда-либо порождавшихся отчаянием.

19

Робино нарушил одиночество Ривьера:

— Господин директор, я подумал… может быть, все же попробовать…

У Робино не было никаких предложений; он просто хотел засвидетельствовать свою добрую волю. Он был бы счастлив найти какое-нибудь решение, он искал его как разгадку ребуса. Но обычно выходило так, что Ривьер и слушать не хотел о найденных инспектором решениях.

«Видите ли, Робино, — говорил Ривьер, — в жизни нет готовых решений. В жизни есть силы, которые движутся. Нужно их создавать. Тогда придут и решения». Итак, Робино должен был ограничиться ролью творца движущейся силы среди сословия механиков; силы довольно жалкой, которая предохраняла от ржавчины втулки винтов.

Но перед лицом событий нынешней ночи Робино оказался безоружным. Его инспекторское звание не давало ему, оказывается, никакой власти над грозами и над призрачным экипажем, который, право же, боролся сейчас уже отнюдь не ради получения премии за точность. Экипаж стремился сейчас уйти от того единственного взыскания, которое снимало все взыскания, налагаемые инспектором Робино, — уйти от смерти.

И никому не нужный Робино бесцельно слонялся из комнаты в комнату.

Жена Фабьена попросила доложить о себе. Мучимая тревогой, она сидела в комнате секретарей и ждала, когда Ривьер примет ее. Секретари бросали украдкой взгляды на ее лицо. Это смущало ее; она боязливо оглядывалась по сторонам. Все здесь казалось ей враждебным: и эти люди, которые, словно перешагнув через труп, продолжали

заниматься своими делами, и эти папки, где от человеческой жизни, от человеческого страдания осталась только строчка черствых цифр. Она пыталась отыскать что-нибудь говорившее о Фабьене… Дома все кричало о его отсутствии: приготовленная постель, поданный на стол кофе, букет цветов… А здесь она не находила ни одной приметы. Здесь все было чуждо и жалости, и дружбе, и воспоминаниям. Она услышала одну только фразу (при ней старались говорить тихо) — услышала, как выругался служащий, настойчиво требовавший какую-то опись: «…опись динамомашин, черт побери, которые мы послали в Сантис!» Симона посмотрела на этого человека с чувством безграничного удивления. Потом перевела взгляд на стену, где висела карта. Ее губы чуть заметно дрожали.

Ей было неловко; она догадывалась, что олицетворяет здесь правду, враждебную этому миру. Симона уже почти жалела, что пришла сюда, ей хотелось спрятаться, и, из боязни быть слишком заметной, она старалась не кашлянуть, не заплакать. Она сознавала свою чужеродность, неуместность, словно была голой.

Но ее правда была так сильна, что беглые взгляды секретарей вновь и вновь возвращались

украдкой к ее лицу и читали на нем эту правду. Эта женщина была прекрасна. Она напоминала людям о существовании заветного мира счастья. Напоминала, сколь высок тот мир, на который невольно посягнет всякий, кто посвятил себя действию. Чувствуя на себе столько взглядов, Симона закрыла глаза. Она напоминала людям, какой великий покой они могут нарушить, сами того не ведая.

Ривьер принял ее.

Она пришла, чтобы робко защищать свои цветы, свой поданный на стол кофе, свое юное тело. В этом кабинете, еще более холодном, чем другие комнаты, ее губы опять задрожали. Симона осознала невозможность выразить свою правду в этом чуждом мире. Все, что восставало в ней: ее горячая, как у дикарки, любовь, ее преданность — все это здесь могло показаться чем-то надоедливым и эгоистичным. Ей захотелось бежать отсюда.

— Я мешаю вам…

— Мадам, — ответил Ривьер, — вы мне не мешаете. Но, к сожалению, мадам, нам с вами остается только одно: ждать.

Она еле заметно пожала плечами, и Ривьер понял смысл этого движения: «Зачем мне тогда

лампа, и накрытый к обеду стол, и цветы — все, что ждет меня дома...» Одна молодая мать однажды призналась Ривьеру: «До сих пор до меня не доходит, что ребенок мой — умер... Об этом жестоко напоминают разные мелочи: вдруг попадается на глаза что-нибудь из его одежды... Просыпаешься ночью, и к сердцу подступает такая нежность, — нежность, никому не нужная, как мое молоко...» Вот и эта женщина начнет завтра с таким трудом свыкаться со смертью Фабьена, обнаруживая ее в каждом своем — отныне бесплодном — движении, в каждой привычной вещи. Фабьен будет медленно уходить из их дома.

Ривьер скрывал глубокую жалость.

— Мадам...

Молодая женщина уходила, улыбаясь чуть ли не униженной улыбкой, уходила, не догадываясь о своей собственной силе.

Ривьер тяжело опустился в кресло.

«А она помогает мне открыть то, чего я искал...»

Рассеянно похлопывал он по стопке телеграмм, сообщавших о погоде над северными аэродромами, и задумался.

«Мы не требуем бессмертия; но мы не хотим

видеть, как поступки и вещи внезапно теряют свой смысл. Тогда обнаруживается пустота, которая окружает нас…»

Его взгляд упал на телеграммы.

«Так вот какими путями проникает к нам смерть: через эти послания, которые утратили теперь всякий смысл…»

Он посмотрел на Робино. Этот недалекий и бесполезный сейчас парень тоже утратил всякий смысл. Ривьер бросил ему почти грубо:

— Что же, прикажете, чтобы я сам нашел вам дело?

Ривьер толкнул дверь, которая вела в комнату секретарей, и исчезновение Фабьена стало для него очевидным, поразило его: он увидел те признаки, которых не сумела увидеть госпожа Фабьен. На стенной диаграмме, в графе подлежащего списанию оборудования, уже значилась карточка РБ-903 — самолета Фабьена.

Служащие, готовившие документы для европейского почтового, работали с прохладцей, зная, что вылет задерживается. Звонили с посадочной площадки — требовали инструкций для команд, чье дежурство стало бесцельным. Все жизненные функции были словно заморожены. «Вот она, смерть!» — подумал Ривьер. Дело его жизни легло

в дрейф, словно парусник, застигнутый штилем в открытом море.

Он услышал голос Робино:

— Господин директор… они женаты всего полтора месяца…

— Идите работать.

Ривьер все еще смотрел на секретарей — и видел за ними подсобных рабочих, механиков, пилотов, видел всех тех, кто своей верой строителей помогал ему в его труде. Он подумал о маленьких городках давних времен. Услышав об «Островах», их жители построили корабль, чтобы нагрузить его своими надеждами. Чтобы увидели люди, как их надежды распускают паруса над морем. И все они выросли, вырвались из узкого мирка; всем им корабль принес освобождение. «Сама по себе цель, возможно, ничего не оправдывает; но действие избавляет нас от смерти. Благодаря своему кораблю эти люди обрели бессмертие».

И если Ривьер вернет телеграммам их подлинный смысл, если он вернет дежурным командам их тревожное нетерпение, а пилотам — их цель, полную драматизма, это будет борьбой Ривьера со смертью. Его дело вновь наполнится жизнью, как наполняются свежим ветром паруса кораб-

лей в открытом море.

20

Коммодоро Ривадавия больше ничего не слышит, но спустя двадцать минут Байя-Бланка, расположенная за тысячу километров от Коммодоро, ловит второе послание:

«Спускаемся. Входим в облака…»

Потом — два слова из непонятного текста доходят до радиостанции Трилью:

«…ничего разглядеть…»

Таковы уж короткие волны. Там их поймаешь, здесь — ничего не слышно. Потом вдруг все меняется без всякой причины. *И* экипаж, летящий неведомо где, появляется перед живыми так, словно он существует вне времени и пространства. И их слова, возникающие на белых листках у аппаратов радиостанций, написаны уже рукой привидений.

Кончился бензин? Или пилот решил перед лицом неизбежной аварии сделать последнюю ставку: сесть на землю, не разбившись о нее?

Голос Буэнос-Айреса приказывает Трилью:

«Спросите у него об этом».

Аппаратная радиостанции похожа на лабо-

раторию: никель, медь, манометры, целая сеть проводов. Дежурные радисты в белых халатах, молчаливые, склонились над столами, и кажется, что они проводят какой-то опыт.

Своими чуткими пальцами радисты прикасаются к приборам; они ведут разведку магнитного неба, словно нащупывая волшебной палочкой золотую жилу.

— Не отвечает?

— Не отвечает.

Может быть, им удастся услышать звук, который явился бы признаком жизни. Если самолет и его бортовые огни снова поднимаются к звездам — быть может, удастся услышать, как поет эта звезда…

Секунды текут. Они текут совсем как кровь. Продолжается еще полет? Каждая секунда уносит с собой какую-то долю надежды. И начинает казаться, что уходящее время — разрушительная сила. Время тратит двадцать веков на то, чтобы проложить себе путь через гранит и превратить храм в кучку пыли; теперь эти века разрушения, сжавшись пружиной, которая может развернуться каждую секунду, грозят экипажу.

Каждая секунда что-то уносит с собой. Уносит голос Фабьена, смех Фабьена, его улыбку. Власть

молчания все ширится. Оно наливается тяжестью, наваливаясь на экипаж, как толща океана.

Кто-то говорит:

— Час сорок. Бензин — весь. Не может быть, чтобы они еще летели.

Наступает тишина.

На губах — какой-то горький, неприятный привкус, как в конце путешествия. Свершилось что-то неведомое, что-то вызывающее смутное чувство отвращения. Среди всех этих никелированных деталей, среди медных артерий чувствуется печаль — та самая, что царит над разрушенными заводами. Все это оборудование кажется тяжелым, ненужным, бесполезным — кажется грузом мертвых сучьев.

Остается ждать дня.

Через несколько часов вся Аргентина всплывет из глубин навстречу дню, и эти люди остаются на своих местах, как на песчаном берегу, глядя, как медленно выступает из воды невод. И что в нем — неизвестно…

Ривьер испытывает в своем кабинете то чувство опустошенности, которое возможно лишь в часы великих бедствий, когда судьба освобождает человека от необходимости что-то решать. Он поднял на ноги всю полицию. Больше он ничего

не может сделать. Только ждать.

Но порядок должен господствовать даже в доме покойника. Ривьер делает знак Робино:

— Дайте телеграмму северным аэродромам: предвидится серьезное опоздание патагонского почтового. Чтобы не задерживать почтовый на Европу, патагонскую почту отправим со следующим европейским.

Ривьер, слегка сутулясь, наклоняется над столом. Потом делает над собой усилие, заставляя себя вспомнить что-то важное… Ах, да! И, чтобы снова не забыть, зовет:

— Робино!

— Да, господин Ривьер.

— Набросайте проект приказа. Пилотам запрещается превышать тысячу девятьсот оборотов. Они калечат мне моторы.

— Хорошо, господин Ривьер.

Ривьер сутулится еще больше. Сейчас ему очень хочется побыть одному.

— Идите, Робино. Идите, старина.

И инспектора Робино ужасает это равенство перед лицом призраков.

21

Робино меланхолически бродил по конторе. Жизнь компании приостановилась: ночное отправление почтового, обычно вылетающего в два часа, будет, видимо, отменено, и самолет вылетит только на рассвете. Служащие с хмурыми лицами еще дежурили, но их дежурство было бесцельным. Метеосводки еще поступали с северных аэропортов с обычной регулярностью; но все эти слова о «чистом небе», о «полной луне» и о «совершенном безветрии» вызывали теперь лишь представление о каком-то мертвом царстве. Лунная, каменистая пустыня…

Перелистывая без всякой цели папку бумаг, над которыми трудился заведующий бюро, Робино вдруг обнаружил, что тот стоит прямо перед ним с нагло-почтительным видом — в ожидании, когда ему вернут, наконец, его бумаги. Казалось, он говорил: «Разумеется, как вам угодно, но все же это — мои бумаги…» Такое поведение подчиненного покоробило инспектора; но он не нашелся что сказать и раздраженно протянул ему папку. Заведующий бюро вернулся на свое место с выражением величайшего благородства. «Мне следовало послать его ко всем чертям», — поду-

мал Робино. И, сохраняя достоинство, он сделал несколько шагов по комнате, думая о драме. Эта драма повлечет за собой опалу для Ривьера и всей его политики. Робино страдал и за Фабьена и за Ривьера.

Потом перед его глазами возник образ Ривьера, одиноко сидящего в своем кабинете, Ривьера, который сказал ему: «Старина...» Никогда еще человек так не нуждался в поддержке. Робино почувствовал к Ривьеру огромную жалость. Он перебирал в уме несколько туманных фраз, предназначенных для сочувствия и утешения. Его охватило чувство, показавшееся ему прекрасным. Робино тихонько постучал в дверь. Ответа не было. Не осмеливаясь нарушать тишину более громким стуком, он отворил дверь. Ривьер был в кабинете. Впервые Робино входил к Ривьеру не на цыпочках, а ступая почти на всю ступню, входил почти как друг; ему представлялось, что он — сержант, который под пулями следует за раненым генералом, не отходит от него ни на шаг в часы поражения и как брат идет вместе с ним в изгнание. Робино хотел, казалось, сказать: «Что бы ни случилось, я всегда — с вами».

Ривьер молчал и, наклонив голову, смотрел на свои руки. И Робино, стоя перед ним, не смел

заговорить. Лев, хотя и поверженный, вселял в него робость. Инспектор подыскивал самые восторженные слова, которые должны были выразить его стремление к самопожертвованию; но каждый раз, поднимая глаза, он видел перед собой склоненную вниз голову, седые волосы, горько — о, как горько! — сжатые губы. Наконец, он решился:

— Господин директор…

Ривьер поднял голову и посмотрел на него. Он очнулся от задумчивости такой глубокой, вернулся из такой дали, что, вероятно, даже не заметил присутствия Робино. И никому никогда не узнать, какие видения прошли перед глазами Ривьера, что пришлось ему испытать в эти минуты и какая печаль охватила его сердце… Ривьер смотрел на Робино долгим взглядом, словно на живого свидетеля каких-то событий. Робино пришел в замешательство. И чем дольше смотрел на него Ривьер, тем яснее обозначалась на его губах непостижимая для Робино ирония. Чем дольше смотрел на него Ривьер, тем больше краснел Робино. И Ривьеру все больше казалось, что Робино, с его трогательно добрыми и, к сожалению, необдуманными намерениями, пришел сюда живым свидетельством человеческой глупости.

Робино охватило смятение. Сержант, генерал, град пуль — все оказалось неуместным. Он не понимал, что происходит. Ривьер все смотрел на него. И Робино невольно даже переменил позу, вынув руку из левого кармана. Ривьер все смотрел на него. Тогда, с чувством огромной неловкости, сам не зная почему, Робино произнес:

— Я пришел к вам за распоряжениями.

Ривьер вынул часы и просто сказал:

— Теперь два часа. Почтовый из Асунсьона приземлится в два десять. Прикажите дать отправление европейскому почтовому в два пятнадцать.

И Робино разнес по конторе удивительную новость: ночные полеты не отменены. Он обратился к заведующему бюро:

— Принесите мне ту папку — я проверю ее.

Когда заведующий бюро подошел к нему, Робино сказал:

— Ждите.

И заведующий бюро ждал.

22

Почтовый из Асунсьона дал сигнал: «Иду на посадку».

Даже в самые горькие часы этой ночи Ривьер

не переставал следить по телеграммам за благополучным движением асунсьонского самолета. Это было для Ривьера своего рода реваншем за поражение, доказательством его правоты. Телеграммы об этом счастливом полете были провозвестниками тысяч других столь же счастливых полетов. «Не каждую же ночь свирепствуют циклоны». Ривьер думал также: «Путь проложен — нельзя сворачивать с него».

Спускаясь из Парагвая по ступенькам аэродромов, словно выходя из восхитительного сада, богатого цветами, низенькими домиками и медлительными водами, самолет скользил вне границ циклона, и тучи не закрывали от него ни одной звезды. Девять пассажиров, закутавшись в пледы, прижимались лбами к своим окошкам, как к витринам с драгоценностями: маленькие аргентинские города уже перебирали во мраке свои золотые четки, а над ними отливало нежным блеском золото звездных городов. Впереди пилот поддерживал своими руками бесценный груз человеческих жизней; в его больших широко раскрытых глазах козопаса отражалась луна. Буэнос-Айрес уже заливал горизонт розоватым пламенем, готовый засверкать всеми своими камнями, подобно сказочному сокровищу.

Пальцы радиста посылали последние радиограммы— точно финальные звуки большой сонаты, которую он весело отбарабанил в небе и мелодию которой так хорошо понимал Ривьер; потом радист убрал антенну, зевнул, слегка потянувшись, и улыбнулся: прибыли!

Приземлившись, летчик увидел пилота европейского почтового; тот стоял, заложив руки в карманы и привалившись спиной к своему самолету.

— А! Это ты повезешь почту дальше?

— Да.

— Патагонец уже здесь?

— Его и не ждут. Пропал без вести. Погода хорошая?

— Великолепная. Значит, Фабьен пропал?

Они не стали много говорить на эту тему. Ощущение великого братства избавляло их от необходимости произносить громкие фразы.

Мешки с асунсьонской транзитной почтой перегружались в европейский самолет; пилот, по-прежнему не шевелясь, закинув голову и прислонившись затылком к кабине, смотрел на звезды. Он чувствовал, как рождается в нем огромная сила, как затопляет его могучая радость.

— Погрузили? — спросил чей-то голос. — Тогда — контакт!

Пилот все не шевелился. Запустили мотор. Плечами, прижатыми к самолету, пилот ощутил, что самолет ожил. Наконец-то, после стольких ложных слухов — летим… не летим… летим… — пилот мог быть спокоен. Его рот приоткрылся; при свете луны сверкнули зубы — словно зубы молодого хищника.

— Осторожно… ночью… эй!

Он не слышал советов товарища. Засунув руки в карманы, запрокинув голову, обратив лицо к тучам, горам, рекам и морям, он беззвучно смеялся. Смех был неслышным, но он пронизал его, пробежав по всему телу, как ветерок пробегает по листве. Смех был совсем неслышным — но он был гораздо сильнее и туч, и гор, и рек, и морей.

— Что это на тебя нашло?

— Этот болван Ривьер воображает… что… что мне страшно!

23

Через минуту он взлетит над Буэнос-Айресом, и Ривьер, возобновивший битву, хочет его услышать. Услышать, как он возникнет, пророкочет и растает, словно грозная поступь армии, движу-

щейся среди звезд.

Скрестив руки, Ривьер проходит мимо секретарей. Он останавливается перед открытым окном, слушает и размышляет.

Если бы он отменил один-единственный вылет, все дело ночных полетов было бы проиграно. Но, опережая тех слабых, которые завтра отрекутся от него, Ривьер выпустил в ночь еще один экипаж.

Победа… поражение… эти высокие слова лишены всякого смысла. Жизнь не парит в таких высотах; она уже рождает новые образы. Победа ослабляет народ; поражение пробуждает в нем новые силы. Ривьер потерпел поражение, но оно может явиться уроком, который приблизит подлинную победу. Лишь одно следует принимать в расчет: движение событий.

Через пять минут радисты поднимут на ноги все аэродромы. Все пятнадцать тысяч километров ощутят биение жизни; в этом — решение всех проблем.

Уже взлетает к небу мелодия органа: самолет.

Медленно проходя мимо секретарей, которые сгибаются под его суровым взглядом, Ривьер возвращается к своей работе. Ривьер Великий, Ривьер-Победитель, несущий груз своей трудной победы.

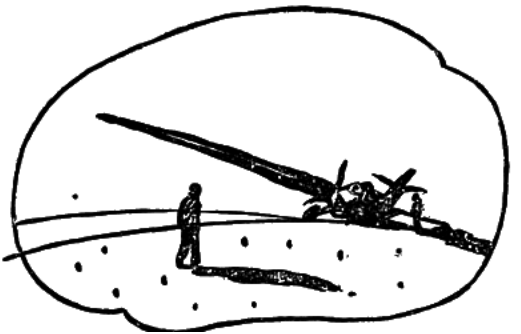
ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ

ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ



Перевод Г. ВЕЛЛЕ

Анри Гийоме!
Тебе, мой товарищ, посвящаю я эту книгу.



Земля лучше всех книг учит нас познавать самих себя. Потому что она сопротивляется нам. Человек раскрывается в борьбе с препятствиями. Но, чтобы преодолеть их, ему необходимы орудия. Ему необходим рубанок и плуг. Возделывая землю, крестьянин мало-помалу вырывает у природы некоторые из ее тайн, и истины, открытые им, принадлежат всему человечеству. Так и самолет — орудие освоения воздушных путей — вводит человека в круг древнейших проблем.

Во мне всегда живет воспоминание о первом

ночном полете над Аргентиной: темная ночь, в которой, подобно звездам, лишь одиноко мерцали редкие огоньки, разбросанные по равнине.

В этом океане мрака каждый из них говорит о чуде человеческого сознания. Вот у этого очага — читают, думают, обмениваются мыслями. А у того — быть может, пытаются проникнуть в тайны мироздания, ломают голову над происхождением туманности Андромеды. А в этом доме предаются любви. Далеко друг от друга мерцали на равнине огоньки, и каждый требовал себе пищи. Даже самые скромные — огонек поэта, учителя, плотника. Но между звезд живых — как много потухших, как много закрытых Iokoh, сколько уснувших людей…

Хорошо бы протянуть друг другу руки. Хорошо бы завязать разговор с этими огоньками, которые горят далеко друг от друга на равнине.

I. Линия

Это было в 1926 году. Я только что начал работать пилотом в компании Латекоэр, которая еще до Аэропосталя и Эр-Франса обеспечивала воздушное сообщение на линии Тулуза — Дакар. Я изучал здесь свое ремесло. Вслед за другими товарищами, я проходил испытательный срок, как проходили его все новички, прежде чем удостоиться чести пилотировать почтовые самолеты: пробные вылеты, полеты между Тулузой и Перпеньяном, скучные уроки метеорологии в ледяном ангаре. В нашей душе жил страх перед еще неизвестными нам горными хребтами Испании и преклонение перед «старичками».

В ресторане, где мы встречались с ними, «старички» держались несколько отчужденно, ворчливо и свысока дарили нам советы. И когда один из них, в ненастный день возвратившись из Аликанте или из Касабланки, являлся с опозданием в мокрой от дождя кожанке и кто-нибудь из нас робко расспрашивал его, то в отрывистых ответах «старичка» раскрывался перед нами сказочный мир, с западнями, провалами, внезапно вырастающими скалами и вихрями, которые

выворачивают с корнем кедры. Черные драконы оберегали вход в долины, снопы молний венчали вершины гор. «Старички» искусно поддерживали в нас преклонение. Но время от времени один из них не возвращался. И преклонение оставалось жить навеки в нашем сердце.

Так мне помнится возвращение Бюри, который позже разбился в Корбьерах. Старый пилот только что подсел к нам и ел молча, угрюмо, и казалось, на плечах его еще лежит груз недавних усилий. Это было на исходе одного из тех ненастных дней, когда на всей линии гнилое небо, когда пилоту кажется, что горы ворочаются в грязи, подобно сорвавшимся с креплений пушкам, ломавшим палубы старинных парусников.

Я уставился на Бюри и, проглотив слюну, решился, наконец, спросить, труден ли был рейс.

Бюри не слышал меня; наморщив лоб, он склонился над тарелкой.

В ненастье на открытых самолетах летчик, чтобы лучше видеть, выглядывает из-за лобового стекла, и ветер еще долго потом продолжает свистеть у него в ушах. Наконец, Бюри поднял голову, казалось услышал меня, вспомнил и вдруг звонко расхохотался. Смех этот восхитил меня — Бюри смеялся не часто, — и сама его усталость

показалась мне прекрасной. Никаких других объяснений по поводу своей победы он не дал, наклонил голову и снова молча принялся за еду. Но в прокуренном зале ресторана, среди мелких чиновников, подкреплявшихся после ничтожных дневных забот, этот товарищ с усталыми плечами показался мне удивительно благородным; из-под грубой оболочки выступил ангел, победивший дракона.

Наконец, наступил вечер, когда и меня позвали в кабинет директора. Он сказал мне:

— Завтра вы летите.

Я не уходил и ждал, когда он меня отпустит. Но, помолчав немного, директор добавил:

— Вы хорошо изучили инструкцию?

Моторы в то время отнюдь не были так надежны, как теперь. Часто они подводили нас и внезапно, без всякого предупреждения выбывали из строя с оглушительным дребезгом разбивающейся посуды. И тогда приходилось сдаваться на милость негостеприимных скал Испании. «Когда здесь мотор выходит из строя, — говорили мы, — самолет — увы! — тут же следует его примеру». Но самолет можно заменить. Главное— не войти вслепую в соприкосновение со скалами. Поэтому нам запрещалось под страхом строжайших

взысканий подыматься в гористой местности над морем туч. При вынужденной посадке летчик, погружаясь в белую вату облаков, мог наткнуться на невидимые вершины.

Вот почему в тот вечер неторопливый голос еще и еще раз настойчиво напоминал о правилах полета:

— Конечно, заманчиво вести самолет в Испании, над морем туч по компасу, конечно это весьма изящно, но…

И еще медленнее выговаривая слова:

— …но помните, под морями туч… вас ждет вечность.

И вот внезапно этот безмятежный мир, такой плоский, такой простой, — мир, который открывается, когда вынырнешь из туч — приобрел для меня новый смысл. Его привлекательность таила западню. Я представлял себе эту огромную белую западню там, внизу, у меня под ногами. Вопреки всем предположениям, внизу царила не суета людей, не шум, не оживление городов, а куда более полное, чем здесь, безмолвие — вечный покой. Этот белый клей становился для меня границей между реальным и нереальным миром, между известным и неизвестностью. И я начинал догадываться, что лишь культура, цивилиза-

ция, человеческий труд придают смысл всему видимому нами. Горцам тоже знакомы океаны туч, однако они не видят в них этой завесы над неведомым.

Выйдя из кабинета, я ощутил ребяческую гордость: поутру и на меня ляжет ответственность за пассажиров, за африканскую почту. Но я чувствовал также, что недостоин этой чести. Мне казалось, что я не вполне подготовлен. Испания бедна посадочными площадками. Меня страшило, что при угрозе аварии я не буду знать, где приземлиться. Напрасно старался я, уткнувшись в бездушные карты, извлечь из них необходимые мне познания. И в этот канун сражения, когда мое сердце наполняли робость и гордость, я отправился к своему другу Гийоме. Гийоме раньше меня изведал эти пути. Гийоме уже овладел этой хитростью, у него был ключ к Испании. — Гийоме должен посвятить меня во все.

Когда я вошел к нему, он улыбнулся:

— Я уже знаю новость. Доволен?

Он подошел к шкафчику, взял бутылку портвейна и стаканы и, все так же улыбаясь, вернулся ко мне.

— Это надо вспрыснуть. Увидишь, все будет хорошо!

Мой друг, побивший впоследствии рекорды почтовых рейсов над Андийскими Кордильерами и южной Атлантикой, излучал уверенность, как лампа излучает свет.

В тот вечер, сидя под лампой, без пиджака, скрестив руки и улыбаясь самой ободряющей улыбкой, он просто сказал: «Бури, туман, снег — конечно, все это будет тебе докучать. Думай тогда о тех, кто испытал это до тебя, и говори себе: если справились другие, справлюсь и я». Однако я все же развернул карты и попросил его просмотреть вместе со мной маршрут. И, склонившись в свете лампы, опершись о плечо старшего товарища, я снова обрел покой школьных лет.

Но что это был за удивительный урок географии! Гийоме не просто описывал мне Испанию, благодаря ему Испания становилась моим другом. Он не говорил мне ни о гидрографии, ни о народонаселении, ни о поголовье скота. Он рассказывал мне не о Гвадиксе, а о трех апельсиновых деревьях, которые стоят на краю одного поля близ Гвадикса: «Берегись! Отметь их на своей карте…» И три апельсиновых дерева заняли теперь на ней больше места, чем Сиерра-Невада. Он рассказывал не о Лорке, а об обыкновенной ферме близ Лорки. О ферме и ее жизни. И о фер-

мере. И о фермерше. И эта супружеская чета, затерянная в пространстве за тысячу пятьсот километров от нас, приобретала безмерное значение. Они обое* повались на склоне горы и, подобно смотрителям маяка, всегда были готовы помочь людям звездами своих огней.

Так мы извлекали из небытия, из непостижимого далека подробности, не известные ни одному географу в мире. Ибо географов интересует только широкая Эбро, утоляющая жажду больших городов, а не маленький ручей, скрытый в траве к западу от Мотриля, — этот поилец нескольких цветов на лугу. «Остерегайся этого ручейка — он портит поле… Нанеси-ка и его на свою карту». О! Я буду помнить о мотрнльской змейке! Ручеек был пустяшный, разве что пленял своим журчаньем десяток лягушек, но, вытянувшись под травами за две тысячи километров отсюда, он спал лишь одним глазом, подстерегая меня у спасительной площадки. При первой же возможности он превратил бы меня в сноп огня.

Полный решимости, ждал и я встречи с пасущимися на склоне холма тремя десятками бодливых баранов, готовых к бою. «Этот луг кажется тебе свободным, а — хлоп! — и тридцать баранов устремляются под колеса…» И я отвечал

изумленной улыбкой на столь коварную угрозу.

И в этой светлой комнате Испания на моей карте мало-помалу превращалась в страну чудес. Я отмечал крестиками посадочные площадки и западни. Я отмечал этого фермера, этих тридцать баранов, этот ручей. Я с точностью заносил на карту овечий выгон, которым пренебрегали географы.

Распрощавшись с Гийоме, я почувствовал потребность побродить. Был холодный зимний вечер. Я поднял воротник пальто. Среди не ведающих ни о чем прохожих я шел, переполненный своим юношеским рвением.

В толпе незнакомцев я гордился тайной, скрытой от них в моем сердце.

Они не знают меня, эти дикари, но именно мне доверят они на рассвете вместе с грузом почты свои заботы, свои душевные порывы. Именно в мои руки отдадут они свои надежды. Так, подняв воротник, шагал я, чувствуя себя их покровителем, а они и не подозревали, что *я* пекусь о них.

Глухи оставались они и к сигналам, которые посылала мне ночь. Ведь снежная буря, готовая, быть может, разразиться и осложнить мой первый рейс, — касалась меня, моей жизни. Звезды гасли одна за другой. Но разве могли это заметить

прохожие? Только я был посвящен в тайну. Перед битвой я получал сообщения о позициях врага…

И, однако, эти столь важные для меня указания я получал возле освещенных витрин, где сверкали рождественские подарки. Здесь, в ночи, казалось, были выставлены все земные блага, и меня опьяняло гордое сознание своего отречения от них. Я был воином, которого подстерегает опасность: к чему мне этот искрящийся праздничный хрусталь, эти абажуры, эти книги? Я уже плыл в тумане. Гражданский летчик, я вкушал уже го-речь летных ночей.

Было три часа ночи, когда меня разбудили. Резким толчком отворил я ставни, увидел город, залитый дождем, и, ощущая значительность минуты, неторопливо оделся.

Полчаса спустя, сидя на чемоданчике, поставленном на блестящий от дождя тротуар, я ждал автобуса. У скольких товарищей до меня сжималось сердце, когда им приходилось также ждать в день своего посвящения! Наконец, из-за угла появилась старинная, дребезжащая железом колымага, и я, как прежде другие товарищи, получил право втиснуться между полусонным таможенником и несколькими чиновниками. В этом автобусе пахло затхлостью, запыленной

канцелярией — старым кабинетом, где увядает человеческая жизнь. Каждые полкилометра он останавливался, влезал еще один канцелярист, еще один таможенник, инспектор. Пассажиры, успевшие уже заснуть, отвечали невнятным бормотанием на приветствие новоприбывшего, который кое-как пристраивался и тут же засыпал. Это была довольно унылая поездка по неровной тулузской мостовой; и гражданский летчик, оказавшийся среди чиновников, сначала ничем от них. не отличался. Но уличные фонари мелькали, аэропорт приближался, и этот старый, разболтанный автобус был уже только серой куколкой, из которой человек должен выйти преображенным.

Каждый из товарищей в такое же утро чувствовал, как в нем, пока еще покорном начальству, еще вынужденном терпеть придирки инспектора, рождается человек, ответственный за испанскую, за африканскую почту, — рождается тот, кто три часа спустя, в сиянии молний, встретится лицом к лицу с драконом Оспиталета… тот, кто спустя четыре часа, победив его, облеченный всеми полномочиями, на свой страх и риск решит — сделать ли ему крюк над морем, или прямо устремиться на штурм Алкойского

массива, — рождается тот, кто будет спорить с грозой, с горами, с океаном.

В такое же утро каждый из товарищей, ничем нс выделяющийся среди безыменной группы людей, под сумрачным зимним небом Тулузы ощутил, как в нем пробуждается властелин, который пять часов спустя, оставив за собой дожди и снег севера, покончив с зимой, сбавит газ и пойдет на посадку в летнем, палимом солнцем Аликанте.

Нет больше старого автобуса, но его неудобства и убогость еще живы в моей памяти. Он был как бы символом необходимой подготовки к суровым радостям нашего ремесла. Во всем тут сказывалась выразительная сдержанность. Помнится, года три спустя, не обменявшись со своими спутниками и десятком слов, я узнал здесь о смерти пилота Лекривена, одного из многих товарищей по линии, которые в туманный день или в туманную ночь ушли на вечный покой.

Было также три часа утра, царила такая же тишина, когда мы услышали, как директор, невидимый во тьме, сказал инспектору:

— Сегодня ночью Лекривен не приземлился в Касабланке.

— Аа! — отвечал инспектор. — Аа?

И, внезапно разбуженный от сна, сделав усилие, чтобы окончательно проснуться и проявить рвение, он добавил:

— Аа! Да? Ему не удалось пробиться? Он повернул назад?

На что из глубины автобуса ему коротко ответили: «Нет». Мы ожидали продолжения, но ни слова больше не было произнесено. И по мере того как летели секунды, становилось все ясней, что за этим «нет» уже ничего не последует, что это «нет» никто больше не властен изменить, что Лекривен не только не приземлился в Касабланке, но больше никогда и нигде не приземлится.

Так и я в это утро, на заре моего первого рейса, покорно выполнял обряды нашего ремесла и, глядя сквозь стекла автобуса на блестящую мостовую, отражавшую свет фонарей, чувствовал, как теряю уверенность. Ветер гнал по лужам крупную рябь, похожую на пальмовые листья. И я думал: «По правде говоря… не везет мне… для первого рейса». Я поднял глаза на инспектора. «Плохая погода?» — Инспектор устало посмотрел в окно. — «Это ничего не доказывает», — пробурчал он, наконец. «Каковы же тогда признаки непогоды?» — спрашивал я себя. Накануне вечером Гийоме одной улыбкой стер все зловещие

предсказания, которыми донимали нас «старички», но все же у меня всплывало в памяти: «Жаль мне того, кто попадет в снежную бурю, если он не знает всей линии до последнего камешка. Да-а, жаль!» Надо же было им поддержать свой престиж! И они качали головами, глядя на нас с состраданием, которое нас немного стесняло, как бы сожалея о нашей наивности.

И в самом деле, для скольких из нас этот автобус оказался последним приютом? Для шестидесяти? Восьмидесяти? Всех их вез дождливым утром тот же угрюмый шофер. Я оглянулся: огненные точки светились во мраке, сигареты вспыхивали в такт размышлениям. Жалкие раздумья состарившихся служащих. Для скольких из нас эти спутники оказались последним кортежем?

Я прислушивался к тихим задушевным беседам. Они касались болезней, денег, скучных домашних забот. Они обрисовывали стены тусклой тюрьмы, в которую эти люди сами себя заключили. И внезапно предо мною возникло лицо судьбы.

Старый канцелярист, спутник мой по автобусу! Никто никогда не помог тебе бежать из этой тюрьмы, — и ты в этом не виноват. Ты построил свой покой, заделывая, подобно термитам, все

выходы к свету. Ты свернулся калачиком в своем буржуазном благополучии, в рутине, в давящих обрядах провинциальной жизни, ты возвел эту жалкую ограду от ветра, от приливов, от звезд. Ты не хочешь волновать себя решением больших проблем, тебе и так нелегко забыть о том, что ты человек. Нет, ты не житель блуждающей планеты, и ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа: ты — тулузский мещанин. Никто не удержал тебя, когда еще было время. Теперь глина, из которой ты сделан, высохла, затвердела, и никто уже не разбудит заснувшего музыканта, поэта или астронома, который, быть может, жил в тебе поначалу.

Я больше не жалуюсь на порывы дождя. Волшебство моего ремесла раскрывает передо мной мир, где через два часа ждет меня схватка с черными драконами, с вершинами, увенчанными прядями синих молний; мир, где с наступлением ночи, раскрепощенный, я проложу свой путь по звездам.

Так происходило наше посвящение, и мы отправлялись в рейсы. Эти рейсы по большей части бывали благополучны. Спокойно, как профессиональные водолазы, ныряли мы в глубины наших воздушных владений. Теперь они хорошо

изучены. Летчик, механик, радист не отдаются на волю случая, а запираются в лаборатории. Они подчиняются игре стрелок, а не движению пейзажа. Снаружи во мраке — горы, но это уже не горы, а невидимые силы, чье приближение нужно рассчитать. Радист под лампой прилежно записывает цифры, механик наносит отметки на карту, а пилот выправляет путь, если горы снесло в сторону, если вершины, которые он собирался обогнуть слева, в тиши и тайне военных приготовлений развернулись для удара в лоб.

А дежурящие на земле радисты — все одновременно — прилежно пишут в тетрадках под диктовку товарища: «Ноль часов сорок минут. Курс двести тридцать. На борту никаких происшествий».

Так путешествует экипаж сегодня. Он не ощущает, что находится в движении. Он отдален, как ночью на море, от каких бы то ни было ориентиров. Но дрожь, которой наполняют эту освещенную комнату моторы, преображает ее. Но время бежит. Но на циферблатах, в радиолампах, в стрелках творится какая-то невидимая алхимия. Секунда за секундой таинственные жесты, приглушенные слова, напряженное внимание готовят чудо. И когда наступает час, пилот

с уверенностью может прижаться лбом к стеклу кабины. Золото родилось из Небытия: оно лучится в огнях посадочной площадки.

И все же у всех нас были рейсы, когда на расстоянии двух часов полета от аэродрома, поразмыслив над своим положением, мы внезапно чувствовали себя дальше от него, чем если бы были в Индии, — так далеко, что не было даже надежды на возвращение.

Так случилось с Мермозом, когда он впервые пересек па гидроплане Южную Атлантику и на исходе дня приблизился к району Пот-о-Нуара. Он увиден, как прямо перед ним с каждой минутой все теснее, словно строящиеся стены, сходятся хвосты ураганов. Потом ночь пала на эти приготовления и скрыла их от него. Час спустя, выбравшись из туч, он очутился в фантастическом царстве.

Черные, на вид неподвижные, как колонны храма, вставали здесь смерчи. Их раздувшиеся вершины подпирали низкий и мрачный свод бури, но сквозь разрывы свода полосами падал свет, и полная луна сияла между колоннами, освещая холодные плиты моря. И от просвета к просвету, огибая гигантские столбы, в которых неумолимо рокотало вздыбленное море, пробираясь четыре

часа кряду вдоль лунных струй, Мермоз двигался среди пустынных руин к выходу из храма. Зрелище это так захватило его, что, только преодолев Порт-о-Иуар, Мермоз заметил, что ему даже не было страшно.

Помню я и часы, когда расступаются границы реального мира. В ту ночь все данные, сообщенные мне по радио аэродромами Сахары, оказались ложными и ввели в заблуждение радиста Нери и меня. Когда сквозь просвет в тумане внизу замерцала вода и я круто повернул к берегу, было неизвестно, как далеко мы ушли в открытое море.

Мы не были уверены, что доберемся до берега, — могло не хватить горючего. А добравшись до берега, нужно было еще найти посадочную площадку. Между тем настало время захода луны. Мало-помалу из-за отсутствия угловых данных мы, уже глухие, становились и слепыми. Луна затухала, как тлеющий уголь, в тумане, похожем на снежную отмель. Небо над нами затягивалось тучами. Между туманом и тучами, в мире, лишенном света и жизни, продолжали мы свой полет.

Аэропорты, отвечавшие нам, отказывались определить наше положение: «Местонахождение неизвестно… Местонахождение неизвестно», —

так как наш голос доносился до них отовсюду и ниоткуда.

И внезапно, когда мы уже потеряли надежду, впереди, слева у горизонта, показалась светящаяся точка. Я почувствовал бурную радость; Нери наклонился ко мне, и я услышал, что он поет! Это мог быть только аэропорт, только маяк. Ведь ночью вся Сахара погружается во тьму, расстилаясь огромной мертвой территорией. Между тем огонек померцал-померцал и потух: мы взяли курс на заходящую звезду, мелькнувшую над горизонтом между полосой тумана и тучами.

Снова и снова появлялись огоньки; со смутной надеждой мы брали курс поочередно на каждый из них. И когда огонек не исчезал, мы проделывали последнюю попытку: «Впереди огонь, — сообщал Нери аэропорту в Сиснеросе. — Трижды погасите и зажгите маяк!» И Сиснерос гасил и зажигал маяк, но жестокий свет, с которого мы не спускали глаз, не мигал — неподкупная звезда.

Несмотря на все уменьшавшийся запас горючего, мы каждый раз клевали на золотой крючок, каждый раз казалось — это настоящий свет маяка, каждый раз казалось — это спасительная площадка, жизнь, и мы снова брали курс на дру-

гую звезду.

И тогда мы почувствовали, что в поисках настоящей планеты — нашей планеты, той единственной, где находятся привычные пейзажи, дома друзей, милые сердцу люди, мы оказались затерянными в межпланетном пространстве среди сотен недосягаемых планет.

В поисках единственной планеты, на которой… Я расскажу вам, какая мне представилась картина, хотя, быть может, это и покажется ребячеством. Но присущие человеку заботы не исчезают даже в часы опасности, и я хотел есть и пить. И я думал: если только доберемся до Сиснероса, то, наполнив баки горючим, продолжим путь и ранним прохладным утром приземлился в Касабланке. Конец работе! Мы пойдем с Нери в город. Найдем маленькое кафе, открывающееся на рассвете… Усядемся с Нери за столик и, вдали от опасности, будем пить кофе с горячими рогаликами и смеяться над прошедшей ночью. Нери и я — мы получим от жизни этот утренний дар. Так старая крестьянка познает своего бога лишь с помощью образка, наивной ладонки, четок, — чтобы воздействовать на нас, нужен простой язык. Так и для меня радость бытия сосредоточивалась в первом глотке горячего ароматного

кофе, в этой смеси кофе, молока и пшеницы, через которые ощущаешь свою связь с тихими пастбищами, экзотическими плантациями и жатвой, ощущаешь свою связь с землей. Среди стольких звезд есть лишь одна, создавшая чашу этого ароматного напитка для нашей утренней трапезы.

Но все больше становились непреодолимые расстояния между нашим кораблем и обжитой землей. Все богатства мира сосредоточивались для нас в пылинке, затерянной среди созвездий, и астролог Нери, пытавшийся распознать ее, не переставая, возносил мольбы к звездам.

Внезапно он стукнул меня кулаком по плечу. На записке, о которой оповещал этот тумак, я прочел: «Все в порядке, принимаю прекрасное сообщение…» С бьющимся сердцем ждал я, пока он перепишет для меня эти пять или шесть спасительных слов. Наконец, я получил его — этот дар небес.

Сообщение шло из Касабланки, откуда мы вылетели вчера вечером. Передача задержалась, и оно настигло нас внезапно в двух тысячах километрах от города в то время, когда, затерянные над морем, мы блуждали между туманом и тучами. Это была телеграмма от правительственного чиновника в аэропорте Касабланки. Она гласила:

«Господин Сент-Экзюпери вынужден просить Париж наложить на вас взыскание: при вылете из Касабланки вы развернулись чересчур близко от ангаров». Верно, я развернулся чересчур близко от ангаров. Верно и то, что, рассердившись, человек этот лишь выполнял свои обязанности; в канцелярии аэропорта я смиренно выслушал бы упреки. Но они настигли нас там, где не следовало нас настигать. Неподходящий был разговор среди чересчур редких звезд, в полосе тумана, над угрожающим морем. Мы были хозяевами своей судьбы, судьбы почты и судьбы корабля; не так-то легко нам было сохранить жизнь, а человек этот вымещал на нас свою мелочную злобу. Но, вместо того чтобы рассердиться, мы оба — Нери и я — почувствовали внезапный прилив восторга. Здесь мы были хозяевами. Он помог нам сделать это открытие. Не заметил он, что ли, по нашим нашивкам, этот ефрейтор, что нас произвели в капитаны? Он вторгался в наши грезы, когда мы сосредоточенно кружили между Большой Медведицей и Стрельцом, когда взволновать нас могло лишь событие такого масштаба, как предательство луны.

У планеты, с которой заявлял о себе этот человек, была одна неотложная обязанность

— сообщить нам точные данные для ориентировки среди звезд. Но эти данные были ложными. Что до остального, то молчать бы планете, и все. И Нери написал мне: «Чем заниматься чепухой, лучше бы они привели нас куда-нибудь…» «Они» — он объединял в этом слове все народы земли, с их парламентами и сенатами, с их флотами, армиями и императорами. И, перечитывая послание безумца, который намеревался рассчитаться с нами, мы повернули, взяв курс на Меркурий.

Нас спасла самая удивительная случайность: настал час, когда, отбросив надежду добраться до Сиснероса, я круто повернул к берегу и решил держаться этого курса до последней капли горючего. Так у меня еще оставался какой-то шанс не утонуть в море. К несчастью, обман зрения завлек меня бог знает куда. К несчастью также, густой туман, в который нам предстояло нырнуть посреди ночи оставлял мало надежды на благополучную посадку. Но выбора не было.

Положение было таким ясным, что я лишь уныло по-жал плечами, когда Нери сунул мне послание, которое еще час назад могло нас спасти: «Сиснерос, наконец, просыпается и пытается определить наше положение. Сиснерос сообщает: двести шестнадцать — под сомнением…» Сис-

нерос не был больше сокрыт мраком. Сиснерос давал о себе знать, мы его чувствовали там, слева от нас. Да, но на каком расстоянии! Мы с Нери коротко обсудили положение. Слишком поздно. Мы придерживались одного мнения: в погоне за Сиснеросом мы рисковали не достичь и берега. И Нери ответил: «Горючего всего на час; продолжаем держать курс девяносто три».

Между тем один за другим пробуждались аэропорты. К нашей беседе присоединились голоса Агадира, Касабланки, Дакара. Радиостанции этих городов подняли тревогу в аэропортах. Начальники аэропортов оповестили всех товарищей. И мало-помалу они собирались вокруг нас, как у постели больного. Бесполезное сочувствие — но все же сочувствие. Бесплодные советы, но какие трогательные!

И вдруг раздался голос Тулузы. Тулуза, начало линии, затерянное где-то на расстоянии четырех тысяч километров, Тулуза с ходу ворвалась к нам и без всяких предисловий заявила: «Самолет, которым вы управляете, не Ф. ли такой-то? (Забыл номер.)» — «Да». — «В таком случае у вас еще горючего на два часа — этот самолет снабжен нестандартным баком. Курс на Сиснерос!»

Так требования ремесла преображают и обо-

гащают мир. Нет даже нужды в подобной ночи, чтобы летчик открыл в старом зрелище новый смысл. Однообразный пейзаж, утомляющий пассажира, для экипажа вовсе не однообразен. Облачная масса, затягивающая горизонт, для него не просто декорация: она предъявит требования его мышцам, поставит перед ним определенные задачи. Летчик сразу же учитывает ее значение, примеряется к ней; она говорит на понятном ему языке. А вот горный пик, он еще далеко. Каким он окажется? В лунном свете— это удобный ориентир. Но если пилот летит вслепую, с трудом выправляет снос и не уверен в точном положении самолета, пик превращается во взрывчатку — наполняет угрозой ночь, подобно тому как одна-единственная пловучая мина, влекомая течениями, портит все море.

Иным предстает летчику и океан. Обыкновенному пассажиру буря незаметна: с большой высоты волны лишены выпуклости, а тучи брызг кажутся неподвижными, будто внизу распростерты большие пальмовые листья, изрезанные прожилками и зазубринами, покрытые какой-то изморозью. Но экипажу ясно, что сесть на воду невозможно. Для него эти листья подобны огромным ядовитым цветам.

И даже если полет протекает благополучно, на любом участке линии летчик никогда не бывает простым зрителем. Окраска земли и неба, следы ветра на море, предсумеречная позолота облаков вызывают в нем не восхищенье, а раздумье. Подобно крестьянину, совершающему обход своей земли и по тысяче примет предугадывающему, какова будет весна, — грозят ли заморозки, надвигается ли дождь, — профессиональный летчик тоже распознает признаки снега, признаки тумана, признаки хорошей ночи. Нам казалось сначала, что машина отдаляет человека от природы и ее великих проблем, но на самом деле она еще больше приковывает к ним его внимание. Один пред судом небесных бурь, пилот спорит за свой груз с тремя божествами природы: горами, морем и ненастьем.

II. Товарищи

1

Несколько товарищей, и в том числе Мермоз, основали французскую авиалинию Касабланка — Дакар над непокоренными районами Сахары. Моторы в то время были весьма непрочны. В результате аварии Мермоз попал в руки арабов. Они не решились его убить, продержали пятнадцать дней в плену, затем, получив выкуп, отпустили. И Мермоз возобновил полеты над теми же территориями.

Когда открылась южноамериканская линия, Мермоз был, как всегда, в авангарде, ему поручили освоить отрезок от Буэнос-Айреса до Сантьяго и после моста через Сахару построить мост над Андами. Он получил самолет с потолком в пять тысяч двести метров. А вершины Кордильер вздымаются на семь тысяч! И Мермоз вылетел на поиски проходов. После песков Мермоз вступил в спор с горами, с вершинами, чьи снежные шарфы развеваются по ветру, с заволакивающей землю мглой, этим предвестником гроз, с воздушными течениями такой силы, что, попав в них между

грядами скал, пилот как бы вступает в своего рода поединок на ножах. Мермоз вступал в эту битву, ничего не зная о противнике, не ведая, выходят ли живым из таких схваток. Мермоз «вел разведку» для других.

Наконец, однажды во время такой «разведки» он очутился в плену у Анд.

Совершив вынужденную посадку на высоте четырех тысяч метров на площадке с отвесными стенами, он и его механик два дня пытались оттуда выбраться. Но они были в ловушке. Тогда они решились на последнюю попытку: запустили мотор, устремили самолет к бездне и, подпрыгнув несколько раз на неровностях почвы, свалились в пропасть. Падая, самолет, наконец, набрал скорость и стал повиноваться управлению. Мермоз стал набирать высоту, чтобы перелететь через гребень, но зацепился за него. Из всех трубок радиатора, лопнувших от мороза накануне ночью, брызнула вода. И когда после семи минут полета он снова терпел аварию, перед ним, словно обетованная земля, открылась чилийская равнина.

На следующий день он начал все снова.

Освоив Анды, выработав технику перелета через них, Мермоз доверил этот отрезок линии своему товарищу Гийоме, а сам взялся за осво-

ение ночи.

Аэродромы наши еще не были освещены, и в темные ночи Мермоза встречали на посадочных площадках жалкие огни трех бензиновых костров.

Он справился с этим и открыл путь.

Когда ночь была вполне приручена, Мермоз принялся за океан. И в 1931 году почту впервые доставили из Тулузы в Буэнос-Айрес за четверо суток. На обратном пути неисправность маслопровода заставила Мермоза в бурю совершить посадку посреди Южной Атлантики. Он был спасен каким-то судном — он, почта и экипаж.

Так покорял пески, горы, ночь и море Мермоз. Не раз поглощали его пески, горы, ночь и море. Но, возвращаясь, он каждый раз снова пускался в путь.

И вот после двенадцати лет работы, во время очередного рейса через Южную Атлантику, он коротко сообщил, что выключает правый задний мотор. И затем умолк.

Казалось, в этом известии не было оснований для беспокойства, и, однако, после десяти минут молчания все радиостанции от Парижа до Буэнос-Айреса стали на тоскливую вахту. В обыденной жизни десять минут опоздания не

играют роли, — в почтовой авиации они приобретают огромное значение. Ведь в этом мертвом промежутке заключено неведомое событие. Незначительное или горестное, но уже совершившееся. Судьба вынесла свой приговор — и никто больше не властен его изменить: то ли железная рука принудила экипаж к неопасной посадке, то ли разбила самолет. Но тем, кто ждет, приговор не объявлен.

Кому из нас не известны эти надежды, все более хрупкие, это молчание с минуты на минуту все более тягостное, как неизлечимая болезнь? Мы не переставали надеяться, но часы шли, и мало-помалу становилось поздно. Приходилось признать, что товарищи уж не вернутся, что они покоятся в той самой Южной Атлантике, небо которой так часто бороздили. Мермоз почил, свершив дело своей жизни, подобно тому как жнец засыпает в поле, аккуратно связав последний сноп.

В нашем ремесле, когда товарищ умирает так, его смерть кажется обычной и на первых порах, пожалуй, ранит меньше, чем иная смерть. Да, товарищ ушел от нас, получив назначение в последний аэропорт, но мы еще не ощутили всей глубины потери, не ощутили ее, как потерю хлеба

насущного.

В самом деле, мы привыкли подолгу не встречаться. Ведь товарищи, работающие на линии Париж — Сантьяго, рассеяны по всему свету и отделены друг от друга, как безмолвные часовые, каждый на своем посту. Только случайное совпадение рейсов может собрать в том или другом месте членов разбросанной профессиональной семьи. В Касабланке, Дакаре или Буэнос-Айресе, у стола, приютившего на один вечер, возвращаешься к прерванной за много лет до того беседе, отдаешься воспоминаниям. Затем — снова в путь. Земля поэтому и пустынна и богата. Богата потаенными, сокрытыми, малодоступными оазисами дружбы, к которым обязательно приводит нас в тот или иной день наше ремесло. Жизнь, быть может, и уводит нас от товарищей, не позволяет думать о них, но все же где-то — не всегда знаешь где, — они существуют — молчаливые и забытые, но зато такие верные! И, когда мы встречаем их на своем пути, они радостно хлопают нас по плечу! Разумеется, мы привыкли ждать.

Но мало-помалу мы обнаруживаем, что звонкого смеха одного из друзей нам больше никогда не услышать, что этот оазис закрыт для нас навеки. Тогда только мы погружаемся в подлинный тра-

ур, исполненный не отчаяния, а горечи.

И в самом деле, никто никогда не заменит погибшего. Ведь старых друзей не создашь себе сразу. Что может быть дороже сокровищницы стольких воспоминаний, стольких трудных часов, пережитых вместе, стольких размолвок и примирений, душевных порывов! Таких друзей не заведешь снова. Ведь, сажая дуб, бесполезно мечтать, что вскоре укроешься под его тенью.

Так идет жизнь. В течение многих лет мы насаждаем деревья, обогащаемся, но приходят годы, когда время разрушает нашу работу и корчует лес. Один за другим оазисы дружбы лишают нас своей тени. И к нашему трауру отныне примешивается грустное сознание, что мы стареем.

Такова мораль, завещанная нам Мермозом и другими. Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том, что оно объединяет людей. Есть только одна подлинная ценность — это связь человека с человеком.

Работая лишь для накопления материальных благ, мы сами строим себе тюрьму. Одинокие, мы запираемся с нашим призрачным сокровищем, ради которого не стоит жить.

Когда я перебираю воспоминания, оставившие во мне самый глубокий след, когда подытоживаю

лучшие часы своей жизни, я останавливаюсь обязательно на тех, которые нельзя оплатить никаким состоянием. Нельзя купить дружбу Мермоза, товарища, навеки связанного с нами испытаниями, пройденными вместе.

И ночь рейса, с ее ста тысячами звезд, и душевную ясность, и кратковременное владычество над миром нельзя купить за деньги.

И способность по-новому увидеть все после трудного перелета — и деревья, и цветы, и женщин, и улыбки, расцвеченные жизнью, которую только что вернула нам заря, — весь согласный хор приносящих радость мелочей нельзя купить за деньги.

Как не купить и всплывающую в моей памяти ночь, проведенную в повстанческом районе Сахары.

Мы — три экипажа Аэропосталя — оказались заброшенными в предвечерний час на побережье Рио-де-Оро. Первым, из-за поломки шатуна, сел мой товарищ Ригель; другой товарищ Бурга в свою очередь совершил здесь посадку, чтобы подобрать первый экипаж, однако маленькая неисправность и его пригвоздила к земле. Наконец, когда уже стемнело, приземлился и я. Мы решили спасти самолет Бурга и дождаться утра,

чтобы произвести ремонт.

За год до того наши товарищи Гурп и Эрабль потерпели аварию в том же месте, и непокорные кочевники убили их. Мы знали, что и сейчас готовый к набегу отряд в триста ружей расположился где-то около Божадора. Приземление трех самолетов, заметное издалека, могло поднять их на ноги, и мы приступили к ночному бдению, которое могло оказаться для нас последним.

Итак, мы устроились на ночь. Вытащив из багажной камеры пять или шесть ящиков с товарами, мы опорожнили их, огородились ими и на дне каждого ящика, как в будке, зажгли едва защищенную от ветра жалкую свечу. Так посреди пустыни, на голой коре планеты, обособленные, как в первые дни мироздания, мы построили людское селенье.

Собравшись ночью на этой центральной площади нашего селения, на клочке песка, освещенном льющимся из ящиков дрожащим светом, мы стали ждать. Мы ждали рассвета, который спасет нас, или арабов. Но что-то сделало эту ночь похожей на рождественскую. Мы обменивались воспоминаниями, шутили и пели.

Мы были в приподнятом настроении, как это бывает на удавшемся празднестве. А между тем

мы были очень бедны. Ветер, песок, звезды. Суровая обстановка, достойная траппистов[1]. Однако вокруг этой слабо освещенной скатерти шесть или семь человек, у которых не было ничего, кроме воспоминаний, делились друг с другом незримыми сокровищами.

Наконец-то мы встретились. Обычно бредешь с человеком бок о бок, отгородившись от него молчанием или обмениваясь ничего не значащими словами. Но вот настал час опасности, и встаешь плечом к плечу с товарищами. Обнаруживаешь свою принадлежность к той же общине. Растешь, приобщаясь к мыслям других. Глядишь на себя, широко улыбаясь. Становишься похожим на освобожденного из тюрьмы узника, который поражен бескрайностью моря.

2

Гийоме! Я скажу о тебе несколько слов. Нет, не бойся, тебе не придется краснеть от града неловких похвал твоему мужеству или твоему мастерству летчика. Описывая самое замечательное из твоих приключений, я хотел бы сказать совсем о другом.

---

[1] Примечания: 1
Монашеский орден.

Есть в человеке качество, которому нет имени. Быть может, «серьезность»? Но нет, это слово не подходит. Это качество не исключает ни смеха, ни веселья. Это то самое качество, которым обладает плотник, когда, приступая к работе, устанавливает деревянную деталь, тщательно как равный с равной, знакомится с ней, ощупывает, измеряет и безо всякого пренебрежения изучает все ее достоинства.

Я однажды читал, Гийоме, рассказ, воспевающий твое приключение, и хочу свести старые счеты с тем извращенным представлением, которое он давал о тебе. Ты был изображен каким-то зубоскалом — этаким «Гаврошем», как будто мужество состоит в том, чтобы унизиться до мальчишества в момент, когда тебя окружают опасности и, быть может, пробил твой смертный час! Они не знали тебя, Гийоме! Тебе не свойственно высмеивать противника, прежде чем вступить с ним в схватку. При встрече с грозовой тучей ты говоришь себе: «Вот и грозовая туча». Ты принимаешь неизбежное и меряешься с ним силами.

Да послужат тому, Гийоме, свидетельством мои воспоминания.

Прошло уже пятьдесят часов, как ты исчез во

время рейса над Андами. Стояла зима. Вернувшись из глубин Патагонии, я присоединился в Мендосе к летчику Делею. В течение пяти дней мы обшаривали с воздуха хаос гор, но тщетно. Наших двух самолетов было мало. Казалось, сотне эскадрилий в течение ста лет не обследовать этот огромный горный массив, вершины которого вздымаются на семь тысяч метров. Мы потеряли всякую надежду. Даже контрабандисты, разбойники, готовые за пять франков совершить убийство, не отваживались вести спасательные экспедиции по горным кручам. «Мы рисковали бы жизнью, — отвечали они. — Зимой Анды никогда не возвращают людей». Когда Делей или я приземлялись в Сантьяго, чилийские офицеры тоже советовали нам прекратить поиски: «Сейчас зима. Если ваш товарищ и выжил при падении, ночь все равно погубила бы его. Там, наверху, когда ночь проносится над человеком, она превращает его в глыбу льда». И, когда я снова скользил между стенами и гигантскими столбами Анд, мне тоже казалось, что я не ищу тебя, а в тиши снежного храма несу последнюю вахту у твоего гроба.

Наконец, на седьмой день, когда между двумя рейсами я завтракал в одном из ресторанов

Мендосы, кто-то вошел и крикнул — о! всего два слова!

— Гийоме… жив!

И присутствовавшие при этом люди, незнакомые друг с другом, обнялись и расцеловались.

Десять минут спустя я поднялся в воздух, взяв на борт механиков Лефевра и Абри. Еще через сорок минут я приземлился на большой дороге, каким-то чудом узнав машину, которая уносила тебя к Сан-Рафаэлю. Ну, и встреча же это была! Мы плакали, душили тебя в объятиях, тебя — живого, воскресшего, сотворившего чудо собственного спасения. Вот тогда-то в первой же фразе, которую ты произнес, прозвучала высокая гордость человека:

«Клянусь тебе, я вынес то, чего не вынесло бы ни одно животное».

Позднее ты рассказал нам о катастрофе.

Двое суток бушевала буря, пять метров снега навалила она на чилийские склоны Анд. Никакой видимости. Летчики Панамериканской линии повернули назад. Ты все же вылетел и сделал попытку найти разрыв в тучах, обложивших небо. Пролетев немного к югу, ты нашел эту ловушку и взял курс на Аргентину, держась на высоте шести тысяч пятисот метров. Ты шел над тучами,

сквозь потолок которых — на высоте шести тысяч — пробивались лишь высокие гребни гор.

Нисходящие течения вызывают подчас у летчика чувство тревоги. Мотор работает нормально, и все же проваливаешься. Задираешь нос, стараешься набрать высоту — самолет теряет скорость, становится вялым и продолжает проваливаться. Опасаясь, что взмыл чересчур круто, отдаешь штурвал, позволяешь снести себя влево или вправо, чтобы прижаться к гребню горы, как бы образующему трамплин для ветра, но по-прежнему проваливаешься. Словно небо опускается и тянет вниз. Такое чувство, будто попал в космическую катастрофу. И негде от нее укрыться. Напрасны все попытки развернуться, возвратиться к тому месту, где плотный, прочный, как столб, воздух служил опорой самолету. Но столба уже нет. Все стало непрочным, и среди мирового распада самолет скользит вниз к туче, которая вяло подымается навстречу, настигает его и поглощает.

«...Меня было затянуло, — рассказывал ты, — но я еще сохранял надежду. Над тучами, — кажущимися такими устойчивыми, по той простой причине, что они беспрестанно теснятся на одном и том же уровне, — встречаются нисходящие

течения. Все так причудливо в горах…»

И какие это были тучи!..

«Почувствовав, что самолет падает, я выпустил из рук штурвал и, чтобы не вывалиться из кабины, вцепился в сидение. Толчки были такими резкими, что ремни врезались мне в плечи и чуть не лопнули. К тому же обледенение лишало меня возможности определиться по горизонту. Самолет покатило, как шляпу, с шести до трех с половиной тысяч метров.

На высоте трех с половиной тысяч я вдруг заметил горизонтальную черную массу. Это позволило мне вы-равнять самолет. То было озеро, которое я узнал: Лагуна Диаманте. Я знал, что оно лежит в воронке, одна сторона которой, вулкан Майпу, вздымается на шесть тысяч девятьсот метров. Хотя я и избавился от туч, но меня слепила густая метель. Я не мог уйти от озера, не разбившись об одну из сторон воронки. И вот я кружил над ним на высоте тридцати метров, пока хватило горючего. После двух часов такой цирковой езды я сел и перевернулся. Когда я выбрался из-под самолета, буря сшибла меня. Я поднялся на ноги — она меня снова сшибла. Пришлось подлезть под самолет и выкопать укрытие в снегу. Я накрылся мешками с почтой и прождал

так двое суток.

Потом, когда буря утихла, я пустился в путь и шагал пять дней и четыре ночи».

Но что осталось от тебя, Гийоме? Это был ты и не ты: обугленный, сморщенный, весь ссохшийся, как старуха! В тот же вечер на самолете я доставил тебя в Мендосу «Белые простыни обволакивали твое тело, но их целебный бальзам не побеждал боли. Истерзанное тело мешало тебе, ты все ворочался и ворочался, даже во сне не находя ему места. Твое тело хранило память о скалах, о снеге. На нем было их клеймо*. Я все смотрел и смотрел на твое почерневшее и вспухшее лицо, похожее на перезрелый, побитый плод. Уродливый, жалкий, ты потерял способность владеть своими замечательными орудиями труда: руки твои отекли; и, когда ты садился на край кровати, чтобы легче было дышать, отмороженные ноги свисали тяжелым грузом, как чужие. Казалось, ты все еще идешь, еще задыхаешься, и, когда ты искал успокоения, прижимаясь лицом к подушке, перед тобой проносилась вереница образов, которые ты был не в силах вытеснить из сознания. В сотый раз возобновлял ты борьбу с твоими поверженными врагами, воскресавшими из пепла вновь и вновь.

Я поил тебя целебным настоем:

— Пей, старик!

— Понимаешь… больше всего меня поразило…

Боксер-победитель, меченый тяжелыми ударами противника, ты вновь переживал свое необыкновенное приключение. Обрывками фраз облегчал ты свою душу. И, слушая в ночи твой рассказ, я видел, как ты идешь в сорокаградусный мороз, голодный, без альпенштока, без веревок карабкаешься на высокогорные перевалы, пробираешься вдоль отвесных круч, разбивая в кровь ступни ног, колени, руки. Мало-помалу, теряя кровь, силы, разум, ты идешь вперед с упорством муравья, сорвавшись, снова взбираешься на кручу, возвращаешься, чтобы обойти непреодолимое препятствие, карабкаешься по склону, за вершиной которого нет ничего, кроме пропасти. Ты не давал себе передохнуть — иначе не подняться бы тебе со снежной постели.

В самом деле, поскользнувшись, ты должен был немедленно вскакивать, чтобы не превратиться в камень. Стужа пронизывала тебя все больше, за лишнюю минуту отдыха после падения тебе приходилось расплачиваться омертвением мышц.

Ты боролся против соблазнов. «В снегу, — объяснял ты мне, — полностью теряешь инстинкт

самосохранения. После двух, трех, четырех дней ходьбы — мечтаешь лишь о сне. Я мечтал о нем, но я говорил себе: жена, если она верит, что я жив, — верит, что я иду. Товарищи верят, что я иду. Все они доверяют мне. Подлец я буду, если остановлюсь!»

И ты шел. И кончиком ножа с каждым днем все больше надрезал сапоги, чтобы они могли вместить твои отмороженные, распухшие ноги.

Я слышал от тебя удивительное признание:

«Видишь ли, начиная со второго дня, больше всего уходило сил на то, чтобы не думать. Я слишком страдал. И положение было уж очень безнадежным, чтобы иметь мужество идти, надо было поменьше размышлять о своем положении. К несчастью, я плохо управлял сознанием, оно работало, как турбина. Однако я мог все же отбирать для него образы. Я настраивал его на какой-нибудь фильм, на какую-нибудь книгу. И эпизоды быстрой чредой проносились передо мной. Затем мысль снова возвращалась к действительности. Неизбежно. И снова я настраивал ее на какие-нибудь воспоминания…»

И все же как-то раз, поскользнувшись, лежа ничком на снегу, ты больше не захотел подняться. Так поверженный боксер, внезапно утративший

желание продолжать схватку, прислушивается к счету секунд в чуждом ему мире — до десятой, после которой все кончено.

«Все, что я мог, я сделал. Надежды нет. Зачем упорствовать, зачем мучиться еще?» Тебе достаточно было закрыть глаза, чтобы мир обрел покой. Чтобы пропали и кручи, и ледники, и снега. Стоило лишь прикрыть магические веки — и не было больше ни ударов, ни падений, ни раздирающей боли в мышцах, ни жгучего мороза, ни давящего груза жизни, который тащишь за собой, как вол в упряжке тянет тяжелый воз. Ты уже чувствовал, как ядовитый холод, подобно морфию, погружает тебя в блаженство. Жизнь жалась к сердцу, последнему пристанищу. Нечто нежное, драгоценное свернулось комочком внутри тебя. Мало-помалу сознание покидало отдаленные утолки твоего тела — этого животного, уже насытившегося страданием, — и оно начинало относиться ко всему с безразличием мрамора.

Совесть — и та начинала замирать. Наши призывы больше не доходили до тебя. Или, точнее, превращались в грезы. Ты радостно откликался на эти призывы, но откликался в грезах, воображаемой ходьбой, — и большие легкие шаги без усилия выносили тебя на простор равнин.

Как свободно скользил ты в мире, ставшем столь ласковым к тебе. Скупец! Ты решил, Гийоме, не дарить нам себя, не возвращаться к нам.

Угрызения совести всплыли из глубины твоего сознания. К грезам примешалась вдруг явь — точные факты. «Я подумал о жене. Страховой полис избавит ее от нищеты. Да, но дело в том, что страховой полис…»

В случае исчезновения юридическая смерть наступает лишь через четыре года. Этот факт встал перед тобой с такой очевидностью, что заслонил все другие образы. Ведь ты лежал, распластавшись на крутом снежном склоне. С наступлением лета тело твое вместе с грязью покатится вниз в одну из тысяч расселин Анд. Ты знал это. Но ты знал также, что в пятидесяти метрах перед тобой скала!

«Я подумал: если подымусь, может быть доберусь до нее. Прижать бы тело к этой скале — и летом его найдут».

Ты поднялся, а поднявшись, безостановочно шел две ночи и три дня.

Но ты не верил, что сможешь уйти далеко.

«Я догадывался по многим признакам, что близится конец. Вот один из них. Каждые два часа я вынужден был останавливаться, чтобы

еще немного разрезать сапоги, натереть снегом распухшие ноги или попросту дать передохнуть сердцу. Но в последние дни я начал терять память. И вот, когда я вновь шагал после очередной передышки, меня вдруг озаряло: каждый раз на остановке я что-нибудь забывал. В первый раз — перчатку, а это не шутка в такой мороз! Я положил ее перед собой, но, уходя, забыл поднять. За перчаткой последовали часы. Затем нож. Затем компас. С каждой остановкой я становился беднее…»

«Спасение лишь в том, чтобы сделать шаг. Еще шаг. Начинаешь всегда с одного и того же шага.

Клянусь тебе, я вынес то, чего не вынесло бы ни одно животное».

Я не знаю ничего благороднее этих слов. Я вспоминаю эти слова, которые определяют истинное место человека в природе, делают ему честь, меряют подлинной мерой его величие.

Когда ты погружался в сон, сознание выключалось, но ты просыпался — и вновь оно воскресало в изломанном, помятом, обожженном морозом теле — и снова властвовало над ним. И тогда — тело было лишь послушным орудием, тело было лишь слугой. И эту гордость обладания послушным орудие?.! — ты тоже умел выразить,

Гийоме!

«Представляешь себе, я уже шел трое суток… без пищи… сердце начинало пошаливать… Так вот! Взбираюсь по отвесной скале над пропастью, выкапываю ямки, чтобы упереться в них кулаками, и вдруг чувствую — сердце сдает. Замрет — и снова в ход. Работает с перебоями. Чувствую, замри оно чуть подольше — я полечу в пропасть. Не двигаюсь, прислушиваюсь к себе. Никогда, слышишь, никогда в самолете я так не ощущал свою связь с мотором, как в эти несколько минут ощутил свою связь с сердцем. Я говорил ему: еще одно усилие! Ну еще, еще раз. Но это было надежное сердце! Замрет — и всегда снова в ход… Если бы ты знал, как я гордился моим сердцем!»

В Мендосе, в комнате, где я выхаживал тебя, ты, наконец, забывался тяжелым сном. А я думал: сказать ему о его мужестве — он только пожмет плечами. Но воспевать его скромность — тоже было бы предательством. Он стоит выше таких банальностей. В этом пожатии плечами — вся его мудрость, завоеванная опытом. Он знает: коль скоро человек уже попал в передрягу, он не пугается. Только неведомое страшит человека. Но для того, кто столкнулся с ним, оно перестает быть неведомым. В особенности когда глядишь на него

с такой ясной прозорливостью. Мужество Гийоме — это прежде всего следствие его прямоты.

И все же основная его доблесть не в этом. Величие его души — в сознании ответственности. Ответственности за себя, за доверенную ему почту, за товарищей, которые надеются — от него зависит их горе или радость; сознание ответственности за то новое, что строится там, у живых, к чему и он должен приложить руку. Ответственности, хотя бы и самой малой, за будущее человечества, — в той мере, в какой оно зависит и от его работы.

Он из числа людей с большим сердцем, с широким кругозором. Быть человеком — это чувствовать свою ответственность. Чувствовать стыд перед нищетой, которая, казалось бы, и не зависит от тебя. Гордиться каждой победой, одержанной товарищами. Сознавать, что, кладя свой кирпич, и ты помогаешь строить мир.

И таких людей пытаются сравнивать с тореадорами или с игроками. Славят их пренебрежение к смерти. Плевать я хотел на пренебрежение к смерти. Если в основе его не лежит сознание ответственности, оно лишь признак нищеты духа или избытка юношеского пыла. Я знавал одного молодого самоубийцу. Не помню уже, что

за любовное огорчение побудило его точнехонько всадить себе пулю в сердце. Не знаю, какому литературному соблазну он поддался, натянув перед этим белые перчатки. Но, помнится, эта жалкая попытка блеснуть оставила у меня впечатление не благородства, а нищеты. Итак, за этим милым лицом, в этом человеческом черепе ничего не было, решительно ничего. Если не считать образа какой-то глупенькой девчонки, похожей на множество других.

И по контрасту с этой бесплодной судьбой мне вспомнилась смерть достойного человека. Смерть садовника, который говорил мне:

«Знаете… Иногда, налегая на лопату, я обливался потом. Ревматизм донимал, болела нога, я проклинал это рабство. Так вот, сегодня я бы хотел копать, копать землю. Ведь копать — это так прекрасно! Человек свободен, когда он копает! И кто подстрижет теперь мои деревья?»

Земля, которую он оставлял, была для него целиной. Вся планета — была целиной. Он был связан любовью со всей землей, со всеми деревьями на земле. Это он был великодушным, щедро расточающим свои силы хозяином земли. Это был мужественный человек, и, подобно Гийоме, он боролся со смертью во имя созидания, во имя

человеческого призвания.

III. Самолет

И пусть, Гийоме, ты круглые сутки наблюдаешь за манометрами, выверяешь гироскопы, прислушиваешься к дыханию моторов, опираешься на пятнадцать тонн металла, — в конечном счете проблемы, встающие перед тобой, — общечеловеческие проблемы, и доблесть, обретенная тобой, ни в чем не уступает доблести горца. Подобно поэту, ты умеешь наслаждаться первыми проблесками зари. Как часто, в бездонных провалах трудных ночей, ты жаждал увидеть бледный сноп света, пробивающийся с востока, из-за черной земли. Бывало, этот чудесный источник медленно разливался пред тобой и приносил исцеление, когда ты считал себя погибшим.

Привычка пользоваться сложным орудием не превратила тебя в засушенного техника. Думается мне, что те, кого так пугает наш технический прогресс, не видят различия между целью и средством. Конечно, кто борется за технику лишь в надежде на материальные блага, не пожинает ничего, ради чего стоило бы жить. Но машина — не цель. Самолет — не цель, а орудие. Такое же

орудие, как и плуг.

Взгляд, будто машина портит человека, объясняется тем, что нам не хватает перспективы и мы не умеем охватить всю совокупность преобразований, пережитых нами в столь короткий срок. Что такое сто лет истории машины по сравнению с двумястами тысяч лет истории человека? Ведь мы только-только начинаем привыкать к пейзажу шахт и электростанций. Мы только-только начинаем обживать новый дом, который сами достроили. Все так быстро изменилось вокруг нас: взаимоотношения людей, условия труда, обычаи. Наша психология — и та потрясена в самой своей основе. Понятия: разлука, отсутствие, расстояние, возвращение, хотя слова и остались теми же, имеют совсем иной действительный смысл. Чтобы охватить сегодняшний мир, мы пользуемся словами, созданными для мира вчерашнего. *И* жизнь минувшей эпохи нам кажется более соответствующей нашей природе лишь потому, что она в большей мере соответствует нашему языку.

Каждый шаг прогресса вытеснял нас чуть дальше из круга едва приобретенных привычек. Мы поистине эмигранты, еще не создавшие себе отечества.

Мы молодые варвары, у которых новые игрушки все еще вызывают изумление. Отсюда и наши авиационные гонки. Такой-то поднялся выше, промчался быстрее. Мы забываем, ради чего заставили его мчаться. На время сама гонка приобретает большее значение, чем ее цель. И так во всем. Для колониального солдата, закладывающего фундамент империи, смысл жизни в завоеваниях. Солдат презирает колониста. Однако разве устройство этого колониста не было целью завоевания? Воспламененные успехами прогресса, мы использовали людей для прокладки железных дорог, для строительства заводов, для бурения нефтяных скважин. Мы позабыли, что цель всех этих строек — служить людям. Пока мы завоевывали, наша мораль была моралью солдат. Но теперь надо осваивать. Надо поселиться в этом новом доме, не имеющем пока своего лица.

Для одних истина была в том, чтобы строить, для других она в том, чтобы — обжить.

Нет сомнения, что наш дом станет больше похож на человеческое жилье. Да и в машине, чем она совершеннее, тем сильнее выступает на первый план ее назначение. Кажется, что все технические усилия человека, все его расчеты, все бессонные ночи, проведенные за чертежами,

в конечном итоге находят внешнее выражение в простоте форм. Словно требовался опыт многих поколений, чтобы мало-помалу выявить контур колонны, корпуса судна, фюзеляжа самолета, вернуть им первичную чистоту линий изгиба груди или плеча. Кажется, что работа инженера, чертежника, конструктора находит внешнее выражение в полировке, в сглаживании. Она устраняет громоздкость соединений, приводит в равновесие крыло, чтобы оно не бросалось в глаза, чтобы оно не было крылом, прикрепленным к фюзеляжу, а было бы полным развитием форм, освободившихся, наконец, из своей оболочки, чтобы все это стало как бы чем-то само-зародившимся, таинственно спаянным воедино, как поэма. Видимо, совершенство достигается не тогда, когда нечего больше добавить, а тогда, когда ничего больше нельзя отсечь. На вершине своего развития машина как бы перестает быть машиной.

Таким образом, совершенство изобретения состоит в том, что уже не замечаешь самого изобретательства. Как в инструменте постепенно стерлась всякая видимость механизма и мы получили предмет, столь же естественный, как отшлифованный морем голыш, так и с машиной:

чем больше ею пользуешься, тем меньше помнишь, что это машина.

Когда-то она нам казалась сложным заводом. Сегодня мы забываем, что мотор вращается. Он отвечает своему назначению вращаться, как сердце — требованию биться, а мы же не обращаем внимания на то, что сердце бьется. Внимание наше больше не приковано к орудию. За орудием и через него мы снова обретаем мать-природу — природу, близкую садовнику, мореплавателю или поэту. Пилот при взлете входит в соприкосновение с водой и с воздухом. Когда моторы запущены, когда гидроплан бороздит воду, корпус его гудит, как гонг в ответ на удары волн, и человек может следить за происходящей работой по сотрясению своего тела. По мере того как самолет набирает скорость, секунда за секундой растет и его мощь. Человек чувствует, как в этих пятнадцати тоннах вещества созревает сила, которая сделает возможным полет. Пилот сжимает в руках руль, и эта мощь вливается, как некий дар, в его подставленные ладони. И по мере того как он получает этот дар, металлические части управления становятся передатчиками велений человека. Когда мощь эта окончательно созрела, пилот легчайшим движением, как бы срывая

цветок, отделяет самолет от воды и утверждает его в воздухе.

IV. Самолет и планета

1

Самолет — несомненно машина, но и замечательное орудие познания. Это орудие позволило нам открыть подлинное лицо земли. В самом деле, дороги веками вводили нас в заблуждение. Мы были подобны государыне, пожелавшей посетить свои земли *и* посмотреть, радуются ли подданные ее царствованию. Для отвода глаз придворные установили вдоль дороги красивые декорации и наняли плясунов. Помимо тонкой путеводной нити, государыня ничего не увидела в своем царстве и не узнала, что на просторах полей ее проклинают мрущие с голоду крестьяне.

Так и мы брели вдоль извилистых дорог. Эти дороги избегают бесплодных земель, скал, песков; они служат нуждам человека и тянутся от родника к роднику. Они ведут крестьян от амбаров к пшеничным полям, принимают поутру на пороге хлевов еще заспанный скот и выводят его к люцерне. Они соединяют деревню с деревней, ибо жители деревень сочетаются браками. И даже если какая-нибудь дорога отваживается

пересечь пустыню, то десятки раз она пускается в обход, чтобы отдохнуть в оазисах.

И вот, обманутые извивами дорог, как утешительной ложью, проезжая столько орошенных земель, столько фруктовых садов, столько лугов, мы долго приукрашивали нашу тюрьму. Мы верили во влажность и мягкость планеты.

Но зрение наше заострилось, — и мы сделали жестокое открытие. Благодаря самолету мы узнали прямой путь. Стоит нам подняться над землей, как мы покидаем дороги, отклоняющиеся к водопоям и хлевам или змеящиеся от города к городу. Отныне свободные от милой сердцу зависимости, избавленные от необходимости в родниках, мы берем курс на дальние цели. Тогда только с высоты наших Прямолинейных траекторий открываем мы основу основ планеты — фундамент из скал, песка и соли, на котором, словно мох между камней развалин, иногда отваживается цвести жизнь.

И вот мы превращаемся в физиков, в биологов, наблюдающих в глубине долин прекрасные творения цивилизации, расцветающие, словно парки, когда им благоприятствует климат. Пользуясь иллюминаторами, как научными приборами для наблюдений, мы судим о человеке в

масштабах вселенной. Мы по-новому перечитываем свою историю.

2

Немного южнее Рио Галлегос пилот, направляющийся к Магелланову проливу, пролетает над потоком давно застывшей лавы. Ее двадцатиметровая толща давит на равнину. Дальше летчику попадается другой, третий поток, а затем уже на склоне каждого бугра, каждого холма, высотой в двести метров, открывается свой кратер. Здесь нет и в помине гордого Везувия: жерла гаубиц расположены прямо на равнине.

Однако сейчас все успокоилось. Тишина кажется странной в этом не выполняющем своего назначения ландшафте, где, бывало, тысячи вулканов, изрыгая огонь, перекликались гигантскими подземными органами. Ныне же летишь над безмолвной землей в уборе черных ледников.

А дальше — еще более древние вулканы, уже одетые золотым газоном. В жерле вулкана, подобно цветку в старом горшке, растет подчас дерево. При свете меркнущего дня равнина кажется великолепной, как парк с подстриженными лужайками, и только едва-едва вздымается вокруг

гигантских жерл. Пробежит заяц, взлетит птица ~ жизнь завладела новой планетой, звезда покрылась добрым тестом земли.

Наконец, перед Пунта-Аренас сглаживаются последние кратеры. Ровная поросль скрадывает изгибы вулканов, придает их очертаниям мягкость. Каждая трещина заделана этим нежным льном. Земля гладкая, склоны отлогие, и забываешь об их происхождении. Трава стирает со склонов холмов мрачные знаки прошлого.

А вот и самый южный город на земле, обязанный своим существованием случайному скоплению грязи между первобытными полями лавы и южными льдами. С какой силой ощущаешь здесь, так близко от черных потоков, чудо существования человека! Удивительное совпадение! Как, почему путник посетил уготованные ему сады, в которых можно жить такой короткий срок — одну геологическую эпоху?

Я приземлился теплым вечером. Пунта-Аренас! Прислоняюсь к ограде водоема и любуюсь девушками. В двух шагах от этих грациозных созданий я еще острее ощущаю тайну человеческого бытия. В мире, где жизнь сходится с жизнью, где на ложе ветра цветы соединяются с цветами, где лебедь познает всех лебедей, — только человеку

свойственно одиночество.

Какой преградой между людьми встает духовный мир каждого! Грезы девушки отделяют ее от меня, как к ней приблизиться? Что могу я знать о девушке, которая возвращается домой — неторопливо, потупя взор и сама себе улыбаясь, полная выдумок и восхитительной лжи? Она сумела создать свой мир из помыслов, звуков голоса и. молчаний возлюбленного, и отныне все, за исключением друга, для нее не более как варвары. Эта девушка замкнулась в своей тайне, в своих привычках, в певучих отголосках своей памяти. Я чувствую, что она дальше от меня, чем если бы находилась на другой планете. Вчера только рожденная вулканом, травянистыми лужайками или солеными водами моря, — она уже полубожество.

Пунта-Аренас! Я прислоняюсь к ограде водоема. Старухи приходят сюда набирать воду; движения служанок— это все, что дано мне узнать об их жизненной драме. Прижавшись к стене затылком, плачет в тишине ребенок; лишь этот образ красивого, навеки безутешного ребенка сохранится в моей памяти. Я чужой. Я ничего не знаю. Я не приобщен к их Миру.

Сколь скудны декорации, на фоне которых идет

великая игра ненависти, дружбы, счастья людей! Откуда это ощущение вечности у людей, волею случая заброшенных на еще не остывшую лаву и уже стоящих под угрозой наступления песков и снегов? Ведь их цивилизация всего лишь хрупкая позолота: извержение вулкана, новое море, дыхание песков стирают ее.

Кажется, что этот город расположен на настоящей почве, на плодородной толще, напоминающей Бос[2]. Люди забывают, что жизнь здесь, как и повсюду, роскошь и что нигде под ногами человека не существует глубокого слоя земли. Я знаю прудов десяти километрах от Пунта-Аренас, который служит тому доказательством. Окруженный низкорослыми деревьями и маленькими домами, ничтожный, как лужа во дворе фермы, он, по необъяснимой причине, подвержен действию приливов и отливов. В этой мирной обстановке — среди зарослей тростника, резвящихся детей — его медленное дыхание дни и ночи подчиняется иным законам. Под ровной гладью, Абд неподвижным льдом, под дном единственной ветхой лодки проявляется влияние луны. Морские водовороты движут черной массой в его глубинах.

---

[2] Примечания: 2
Сельскохозяйственный район Франции.

Повсюду, вплоть до Магелланова пролива, под тонким слоем травы и цветов, продолжаются удивительные превращения. На пороге города, где человеку кажется, что он дома, что он крепко обосновался у себя, на земле людей, — в стометровой луже бьется пульс моря.

3

Мы живем на странствующей планете. Время от времени благодаря самолету мы узнаем что-либо о ее происхождении. Лужа, связанная с луной, обнаруживает скрытые родственные отношения. Но мне довелось видеть и другие признаки.

На побережье Сахары между Кап-Джуби и Сиснеросом пролетаешь время от времени над возвышенностями в форме усеченного конуса, образующими площадки шириной от нескольких сот шагов до тридцати километров. Высота этих холмов поразительно однообразна — триста метров. Но помимо этого равенства уровней все они одинаково окрашены, состоят из одинаковых пород и отличаются одинаковыми контурами скал. И подобно тому как возвышающиеся над песками колонны древнего храма несут еще на себе развалины обвалившегося свода, так и эти одинаковые столбы свидетельствуют о том, что

в прошлом существовало большое плоскогорье, соединявшее их.

В первые годы после открытия линии Касабланка — Дакар, когда техника не отличалась еще прочностью, аварии, поиски и спасение товарищей заставляли нас часто приземляться в районе непокорных племен. Песок здесь обманчив: думаешь, что он плотен, — и увязаешь. Что до твердых на вид солончаков, которые звенят под каблуками, как асфальт, они подчас не выдерживают тяжести колес. Белая корка ломается — и ты проваливаешься в вонючее черное болото. Вот почему, когда позволяли обстоятельства, мы выбирали гладкую поверхность плоскогорий: она не таила никаких ловушек.

Гарантией тому служил крупнозернистый тяжелый песок — огромное скопление мельчайших раковин. На поверхности плоскогорий они были еще целые, а чем ниже по ребру — все больше дробились и спаивались. В самых древних отложениях — у основания массива они образовывали уже настоящие известняки.

И вот когда Рейн и Серр — наши товарищи, захваченные кочевниками, были в плену, мне пришлось приземлиться на одном из таких плоскогорий, чтобы высадить посланца араба.

Перед тем как его оставить, я попытался вместе с ним найти путь, которым можно было бы спуститься с возвышенности Но наша терраса кончалась со всех сторон скалистой кручей, которая складками каменного занавеса отвесно падала в пропасть. Выбраться отсюда не было никакой возможности.

И все же я немного задержался, прежде чем вылететь на поиски другой площадки. Я испытывал радость, быть может и ребяческую, при мысли, что попираю ногами землю, не оскверненную ни человеком, ни животным. Ни один араб не был бы в состоянии взять приступом эту крепость. Ни один европеец не исследовал еще этой площадки. Я ступал по бесконечно девственному песку. Я был первым человеком, который пересыпал из руки в руку, как драгоценное золото, эту пыль ракушек. Я первый нарушил здесь тишину. На своего рода полярной льдине, испокон веков не взрастившей п травинки, я был как бы семенем, занесенным ветром, — первым свидетельством жизни.

В небе уже сияла звезда. Я смотрел на нее и думал о том, что белая поверхность площадки в течение сотен тысяч лет общалась лишь со звездами... Не запятнанная ничем скатерть,

разложенная под открытым небом! И внезапно сердце мое забилось, как на пороге великого открытия, потому что на этой скатерти, в пятнадцати или двадцати метрах от себя, я заметил черный камень.

Подо мной была трехсотметровая толща раковин. Этот огромный пласт неопровержимо свидетельствовал об отсутствии каких-либо камней. Возможно, кремни — результат каких-то преобразующих процессов планеты — покоились на большой глубине под этой массой. Но благодаря какому чуду один из них мог появиться на этой девственной поверхности? С замирающим сердцем я подобрал свою находку: твердый черный камень размером в кулак, тяжелый, как металл, и отлитый в форме слезы.

На скатерть, разложенную под яблоней, могут упасть только яблоки, на скатерть, разложенную под звездами, могут упасть только пылинки звезд: никогда еще ни один метеорит с такой очевидностью не подтверждал свое происхождение.

Разумеется, подняв голову, я подумал, что с высоты небесной яблони должны были упасть и другие плоды. И я найду их там, куда они упали, потому что в течение сотен лет никто не мог их тронуть, а с другими веществами они вряд ли

смешались. И я тут же пошел обследовать плоскогорье, чтобы проверить свою догадку.

Она подтвердилась. Я пополнял свою коллекцию почти на каждом гектаре. Все камни выглядели так, словно были вылеплены из лавы. Все они были тверды, как черный алмаз. Время как бы сжалось, и, потрясенный, стоя на вершине моего звездного дождемера, я как бы увидел перед собой весь этот многовековой огненный ливень.

4

Но чудеснее всего было то, что здесь, на круглой спине планеты, между намагниченной скатертью и звездами оказалось человеческое сознание, в котором дождь этот отражался, как в зеркале. В такой обстановке видение — это чудо. А мне вспоминается видение…

Однажды, вынужденный приземлиться в районе песков, я ожидал рассвета. Золотистые барханы подставляли луне озаренные сиянием склоны, и тени подступали вплотную к линии светового раздела. На пустынном участке лунного света и тени царила тишина прерванной работы, тишина западни — и я заснул.

Когда я проснулся, то не увидал ничего, кроме чаши ночного неба, потому что лежал на гребне

бархана, раскинув крестом руки, с лицом, обращенным к садку звезд. Не сразу поняв, что за глубины предо мной, не находя корня, за который можно уцепиться, ни крыши, ни ветки дерева между мной и этими глубинами, я почувствовал головокружение, почувствовал, что уже оторвался и лечу в бездну.

Однако я никуда не упал. От затылка до пят я был связан с землей. Я отдался ей всей тяжестью своего тела и ощутил какое-то успокоение. Сила тяготения показалась мне всемогущей, как любовь.

Я ощутил, что земля меня подпирает, поддерживает, поднимает и уносит в ночное пространство. Я открыл, что тяжесть тела прижимает меня к планете, как на поворотах прижимает тело к машине, я наслаждался этой поддержкой, ее прочностью, ее надежностью и ощутил под тяжестью тела изогнутую палубу моего корабля.

Ощущение полета было столь четким, что я не удивился бы, услышав, как из глубины земли поднимается жалобный стон материалов, с трудом приноравливающихся к движению, тоскливый стон старых парусников, идущих ко дну, рассерженный скрип потревоженных барж. Но в толще земли царила тишина. Но я чувствовал в

своих плечах эту силу тяготения — гармоничную, постоянную, на веки веков одинаковую. Подобно телам мертвых гребцов с галер, удерживаемых грузом на дне морском, я был связан с родной землей.

И, затерянный в пустыне, среди опасностей, без укрытия, между песком и звездами, отделенный от полюсов моей жизни слишком широкой полосой безмолвия, я раздумывал о своем положении, ибо знал, что, если ни один самолет не найдет меня, если арабы меня не прикончат, — потребуются дни, недели, месяцы, чтобы добраться до этих полюсов. Здесь я был лишен всего. Я был смертным, заплутавшимся среди песков и звезд, сознающим, что у меня осталось одно утешение — дышать…

А между тем меня неустанно посещали видения.

Они появлялись бесшумно, как воды родника, и я не сразу понял, что за нега охватила меня. Не было ни голосов, ни образов, а только ощущение чьего-то присутствия, очень милой *и* наполовину угаданной дружеской близости. Затем я все понял и, закрыв глаза, поддался чарам своей памяти.

Где-то был парк, заросший черными елями и липами, и старый дом, который я любил. И не в

том дело, был ли он близко, или далеко, мог он или нет согреть мое тело, дать мне приют, ибо здесь он был только видением; но уже то, что он существовал, наполняло мою ночь его присутствием. Я не был больше телом, выброшенным на песчаный берег, я узнавал знакомые места. Я был ребенком из этого дома, меня наполняли воспоминания о его запахах, о прохладе его прихожих, о звучавших в нем голосах. Даже пение лягушек в лужах доносилось до меня. Эти тысячи вех мне были нужны, чтобы разобраться в самом себе, чтобы понять, отсутствие чего создавало ощущение пустыни, чтобы открыть смысл ее безмолвия, сотканного из тысячи молчаний, даже из молчания лягушек.

Нет, я не плыл больше между песками и звездами. Окружающий меня ландшафт застыл в холодном молчании. И я понимал теперь, что ощущение вечности, которое, казалось, исходило от него, имеет совсем другую причину. Моему взору представлялись величественные шкафы в доме. Сквозь приоткрытые дверцы виднелись уложенные рядами белоснежные простыни — запасы снежной прохлады. Старушка экономка семенила, как мышь, от шкафа к шкафу. Она проверяла, разворачивала, снова складывала, пе-

ресчитывала белоснежное белье и, находя в нем признаки ветхости — угрозу вечному существованию дома, — то и дело восклицала: «О боже, какое несчастье!» — и тотчас же садилась возле лампы и портила себе глаза, пытаясь починить алтарные покровы, залатать простыни, огромные как паруса трехмачтовика, совершая обряд служения чему-то высшему — богу или кораблю.

О! Я должен посвятить тебе страницу. Возвращаясь из первых путешествий, я находил тебя, мадемуазель[3], с иголкой в руке, утопающей по колено в белых покровах — с каждым годом все более морщинистой, все более седой. И, как всегда, твои руки заботились о простынях без складок для нашего сна, о скатертях без швов для наших обедов — этих праздников света и хрусталя. Я приходил в бельевую, садился против тебя и, чтобы взволновать тебя, чтобы открыть твоим глазам широкий мир, нарушить твой душевный покой, — рассказывал о смертельных опасностях, которым подвергался. Я вовсе не изменился, говорила ты. Еще мальчиком, я рвал свои рубашки. Ах! Какое несчастье! И обдирал колени! А затем возвращался домой, чтобы дать

---

[3] Примечания: 3

Так обращаются обычно во Франции к гувернантке, экономке…

за собой поухаживать, как в этот вечер. Да нет же, нет, мадемуазель! Я возвращаюсь не из парка, а с другого края земли, я приношу с собой острый запах пустыни, песчаный вихрь, яркое сияние тропической луны! Конечно, говорила ты, мальчики бегают, ломают себе шею и думают — какие мы молодцы. Да нет же, нет, мадемуазель, я видел мир куда более огромный, чем этот парк! Знала бы ты, как ничтожно мала его сень! Как теряется она в песках, гранитных скалах, девственных лесах и болотах земли! Знаешь ли ты, что есть земли, где люди, встречаясь, сразу же вскидывают к плечу винтовку. Знаешь ли ты, мадемуазель, что есть пустыни, где в ледяные ночи люди спят под открытым небом — без кровати, без простынь…

— Ах варвар! — говорила ты.

Подорвать ее веру было так же невозможно, как веру служительницы церкви. И я сожалел о жалкой судьбе, делавшей ее слепой и глухой…

Но в эту ночь, в Сахаре, без укрытья между песком и звездами, я воздал ей должное.

Не знаю, что происходит во мне. Несмотря на то, что звезды намагничены, тяготение приковывает меня к земле. Другое тяготение возвращает

меня к самому себе. Я чувствую, как мой вес притягивает меня ко множеству вещей! Видения мои реальнее, чем эти дюны, чем эта луна, чем все, что меня окружает. О! Волшебство домашнего очага не в том, что он может приютить, согреть, и ие в том, что владеешь стенами дома. Волшебство его в том, что он постепенно наполняет сердце запасом нежности, образующим в глубине души таинственный массив, в котором, словно вода в источнике, рождаются грезы.

О Сахара, моя Сахара, ты вся теперь зачарована феей домашнего очага!

V. Оазис

Я вам уже так много рассказывал о пустыне, что, прежде чем снова говорить о ней, мне хотелось бы описать оазис; и тот, который я вижу пред собой, находится вовсе не в Сахаре. Но одно из волшебных свойств самолета заключается в том, что он сразу же переносит вас в самое сердце чудесного. Допустим, вы биолог, изучающий через иллюминатор человеческий муравейник; с холодным любопытством вы наблюдаете города, расположенные на равнинах, в центре расходящихся веером дорог, которые, подобно артериям, питают их соками полей. Но стрелка манометра задрожала — и пучок травы там, внизу, становится целым миром. Вы теперь пленник лужайки среди спящего парка.

Отдаленность измеряется не расстоянием. Ограда сада где-нибудь у нас подчас скрывает больше тайн, чем Китайская стена, и душа маленькой девочки крепче ограждена молчанием, чем оазис в Сахаре — песками.

Расскажу вам о короткой стоянке где-то на земле. Это было около Конкордии, в Аргентине, но могло быть и в любом другом месте: на свете

так много чудес.

Я приземлился в поле и даже не подозревал, что попаду в сказку. Ни старый форд, в котором я ехал, ни подобравшая меня супружеская чета — не представляли собой ничего из ряда вон выходящего.

— Вы переночуете у нас…

Но вот на повороте дороги показалась купа деревьев, освещенных луной, а за деревьями — дом. Какой странный дом! Коренастый, массивный, почти крепость. Но стоило переступить порог — и этот сказочный замок оказывался таким же мирным, спокойным, надежным убежищем, как монастырь.

Внезапно появились две девушки. Как судьи на пороге запретного царства, они внимательно изучали меня; лицо младшей выразило разочарование, и она постучала об пол свежесрезанной палочкой. После взаимных представлений девушки, не произнеся ни слова, подали мне руку, с любопытством и вызовом взглянули на меня и исчезли.

Это позабавило меня и очаровало. Все произошло так просто, мимолетно, бесшумно, словно было произнесено первое слово какой-то тайны.

— Э! Э! Они дикарки, — промолвил отец.

И мы вошли.

Я любил в Парагвае насмешницу-траву, которая, высунув нос между булыжниками мостовой, как посланец невидимого девственного леса, приходит взглянуть, держат ли еще люди город в своих руках, не настал ли час немного потеснить все эти камни. Я любил такого рода запустенье — выражение большого богатства. Однако этот дом поразил и меня.

Все здесь пришло в ветхость — в восхитительную ветхость, подобно старому, покрытому мхом, слегка потрескавшемуся от возраста дереву, подобно деревянной скамейке, на которой сидели поколения влюбленных. Панели потрескались, косяки были изъедены червями, стулья хромали. Но если здесь ничего и не чинили, зато чистоту поддерживали ревностно. Все было начищено, убрано, все сверкало. Гостиная приобрела от этого необычайно выразительный вид, как лицо старухи, покрытое морщинами. Трещины стен, щели в потолке — все восхищало меня, а больше всего — паркет, местами провалившийся, местами расшатанный, натертый до блеска. Любопытный дом: в нем чувствовалась не запущенность, не небрежность, а глубокое почтение ко всему. Вероятно, с каждым годом росло его очарование,

следы времени становились все выразительней, все теплее дружеская атмосфера — а путешествие, которое приходилось предпринять, чтобы пройти из гостиной в столовую, — все опаснее.

— Осторожно!

Это был провал. Мне заметили, что в таком провале легко сломать себе ногу. Никто не был виноват в том, что здесь провал: работа времени. Как величественно было это аристократическое пренебрежение ко всяким оправданиям. Мне не говорили: «Мы могли бы заделать все эти дыры, мы богаты. Но…» Не говорили мне и другого — что, впрочем, было бы правдой: «Мы арендуем этом дом у города на тридцать лет — дело города чинить. Кто кого переупрямит…» Здесь пренебрегали объяснениями, — и такая непринужденность восхищала меня. Разве что бросали мимоходом:

— Э! Э! Малость обветшало…

Но легкий тон, которым произносились эти слова, позволял думать, что мои друзья не очень-то удручены. Представляете себе артель каменщиков, плотников, столяров, штукатуров, которые разместились бы со своими святотатственными орудиями среди подобной старины и за неделю превратили бы все это в дом, где вы чувствова-

ли бы себя, как в гостях? В дом без секретов, без укромных уголков, без разверзающихся под ногами ям, без тайников — своего рода приемную городской ратуши?

В этом доме с его потайными ходами девушки скрылись самым естественным образом. Каковы же должны тут быть чердаки, когда даже гостиная полна сокровищами чердака? Когда казалось, что достаточно приоткрыть какой-нибудь стенной шкаф, чтобы из него посыпались пожелтевшие письма, пачки квитанций прадеда, больше ключей, чем имеется замков во всем доме, ключей, которые не подойдут, разумеется, ни к одному замку. Чудесно ненужных, вводящих в заблуждение ключей, заставляющих мечтать о подземельях, о зарытых в них сундуках, о золотых монетах.

— Разрешите пригласить вас к столу?

Мы пошли к столу. При переходе из комнаты в комнату я вдыхал растекающийся, как ладан, запах старых книг, который стоит всех ароматов на свете. Но больше всего нравилось мне, когда переносили лампы. Настоящие тяжелые лампы, которые перетаскивали из комнаты в комнату, как в самые ранние годы моего детства. В них вспыхивали языки пламени с черной каймой

в виде пальмовых листьев, и волшебные тени метались по стенам. А когда лампы ставили, на стенах застывали светлые пятна, вокруг смыкались заповедники ночи, и из них доносилось потрескивание дерева.

Обе девушки появились так же таинственно, так же безмолвно, как раньше исчезли. Они чинно уселись за стол. Должно быть, они перед тем кормили своих собак и птиц, любовались светлой ночью, распахнув окна, наслаждались запахом трав в дыхании ветра. Разворачивая салфетки, они теперь уголком глаза, украдкой наблюдали за мной и решали, принять ли меня в число домашних зверей. Ведь у них был уже игуан, мангуста, обезьяна, лиса и пчелы. И все звери мирно уживались вместе, как в новом земном раю. Девушки царствовали над всеми живыми тварями, чаруя их своими Маленькими руками, давая им корм и воду, рассказывая им сказки; и все — от мангусты до пчел — внимали им.

И я был готов к тому, что эти девушки обратят всю свою смышленость, всю свою тонкость на то, чтобы вынести суждение о сидящем напротив них существе мужского пола, суждение быстрое, тайное и окончательное. Так в детстве мои сестры выставляли оценки гостям, впервые оказавшим

нам честь откушать за нашим столом. И, когда разговоры умолкали, в наступившей тишине внезапно раздавалось:

— Одиннадцать![4]

Возглас, всей прелестью которого могли упиваться только мои сестры и я.

Воспоминание об этой игре немного тревожило меня. Стеснение мое росло от сознания искушенности судей. Эти судьи умели отличить зверя плутоватого от зверя наивного, по следам лисы они могли понять, в хорошем ли она настроении; они обладали таким же глубоким знанием душевных движений человека.

Мне полюбились эти проницательные глаза, эти прямые юные души, но я предпочел бы, чтобы они переменили игру. Подобострастно, из боязни получить «одиннадцать», я передавал им соль, подливал вино, но, подымая глаза, каждый раз замечал все ту же мягкую серьезность судей, которых ничем не подкупишь.

Лесть — и та была бы напрасна: тщеславие им было неведомо. Тщеславие, но не гордость, и без моей помощи они думали о тебе больше хорошего, чем осмелился бы сказать я. Мне даже не

---

[4] Примечания: 4

Во Франции в лицеях и высших учебных заведениях принята двадцатибальная система.

приходило в голову использовать престиж своего ремесла: ведь не менее смело забраться на самую макушку платана, для того чтобы проверить, не оперились ли вылупившиеся из яиц птенцы, и навестить друзей.

Мои молчаливые феи так внимательно следили за тем, как я ем, я так часто ловил на себе их взгляды, что перестал разговаривать. Наступило молчание, и в это время что-то слегка зашипело, зашуршало на паркете под столом, затем наступила тишина. Я поднял удивленный взгляд. И тогда младшая из девушек, кусая хлеб молодыми зубами дикарки, удовлетворенная, видимо, результатами своих наблюдений, но, решив все же бросить последний пробный камень, объяснила мне с невинным видом — впрочем, не теряя надежды поразить варвара, если бы я оказался таковым:

— Это гадюки!

И, довольная, умолкла, считая, что такого объяснения вполне достаточно для всякого не слишком глупого человека. Взгляд ее сестры с быстротой молнии скользнул по мне, чтобы судить о моей первой реакции, и обе девушки уткнули в тарелки самые нежные, самые невинные на свете лица.

— Вот как!.. Гадюки…

Конечно, я не удержался от такого возгласа. Что-то скользнуло у меня между ног, задело икры — это были гадюки…

К счастью для меня, я улыбнулся… И непринужденно: иначе они бы меня сразу раскусили. Я улыбнулся потому, что мне было весело, потому что дом этот с каждой минутой решительно нравился мне все больше, да еще и потому, что мне хотелось узнать побольше о гадюках. Старшая пришла мне на помощь:

— Они гнездятся в дыре под столом.

— Около десяти часов вечера они возвращаются, — добавила ее сестра. — Днем они охотятся.

В свою очередь я украдкой взглянул на девушек. Эта тонкость, эти невозмутимые лица, таившие беззвучный смех! Я был восхищен их царственным видом…

Я размечтался сегодня. Все это уже далеко позади. Что стало с двумя феями? Должно быть, они вышли замуж. Но изменились ли они? Ведь это такое важное событие — переход от девичества к состоянию замужней женщины. Как живут они в новом доме? По-прежнему ли дружат с дикими травами и змеями. Ведь они были приобщены к жизни вселенной. Приходит, однако, час, и в

девушке просыпается женщина. Она мечтает выставить, наконец, кому-то «девятнадцать». «Девятнадцать» тяжелым грузом лежит на сердце. И появляется какой-нибудь дурак. И впервые глаза, столь проницательные, ошибаются и наделяют его всеми достоинствами. Если дурак рифмует строчки, его принимают за поэта. Верят, что ему мил этот расшатанный паркет, верят, что он любит мангуст, верят, что ему льстит доверие гадюк, разгуливающих под столом между его ногами. Отдают ему свое сердце — дикий сад, ему, который любит лишь благоустроенные парки. И дурак уводит принцессу в рабство.

VI. В пустыне

1

Эти тихие радости были нам недоступны в Сахаре, — гражданские летчики, узники песков, неделями, месяцами, годами мы совершали рейсы от форта к форту и редко по одному и тому же маршруту; здесь, в пустыне, не могло быть и речи о таких оазисах: сады и девушки — какая сказка! Конечно, там, где, покончив раз и навсегда с работой, мы начнем новую жизнь, нас поджидали тысячи девушек. Конечно, там, среди мангуст и книг, они постепенно развивали в себе утонченные чувства… Конечно, они становились все прекраснее.

Но я знаю, что такое одиночество. За три года в пустыне я познал его вкус. В пустыне страшит не то, что молодость угасает среди камней и песков, — здесь кажется, что весь мир стареет вдали от тебя. Деревья покрылись плодами, созрели хлеба на полях, женщины уже стали прекрасными. Но время бежит, поспешить бы с возвращением… Но время бежит, а тебя задерживают вдали… и дары земли скользят меж пальцев, как тонкий

песок дюн.

Люди обычно не чувствуют бега времени. Они живут как бы в затишье. А вот мы ощущали бег времени даже на стоянке, когда мы преодолевали вечно несущиеся вперед пассаты. Мы были похожи на оглушенного стуком колес в ночи пассажира скорого поезда, который по пучкам света за окном догадывается, что перед ним проносятся поля, деревни, родные волшебные места, но он ничего не может удержать, потому что находится в пути. Так и мы, слегка возбужденные, ощущая еще в ушах шум полета, чувствовали себя в пути, несмотря на тишину стоянки. И наперекор воле ветра, слушая биение своих сердец, мы ощущали, как нас уносит в неведомое будущее.

Присутствие повстанцев делало пустыню еще более враждебной. Ночи в Кап-Джуби были рассечены на четверти часа, как боем склянок: здесь и там, согласно уставу, громко перекликались часовые. Затерянный в районе непокорных племен испанский форт Кап-Джуби оберегал себя от неведомых опасностей. А мы, пассажиры этого слепого корабля, мы прислушивались к нарастающим то здесь, то там звукам переклички, кружившим вокруг нас наподобие морских птиц.

И тем не менее мы любили пустыню.

Если поначалу она — только пустота и безмолвие, то потому, что не отдается случайному любовнику. Даже обыкновенная деревня раскрывается не сразу. Если не отказаться ради нее от всего света, если не вжиться в ее обычаи, порядки, споры, так и не увидишь в ней того, что видят те, кому она родина. Больше того, в двух шагах от нас человек замуровывается в монастырской келье и живет согласно правилам, известным только ему, — этот человек уже находится как бы в тибетской пустыне, в отдалении, куда нам никогда не добраться ни на каких самолетах. Зачем посещать его келью?! Она пуста. Мир человека — в нем самом. Так и пустыня вовсе не состоит ни из песка, ни из туарегов, ни даже из вооруженных ружьями арабов…

Но вот сегодня мы почувствовали жажду. И только сегодня мы открываем, что колодец, о существовании которого нам давно уже известно, оживляет все вокруг. Так невидимая женщина может зачаровать целый дом. Колодец влечет издалека, как любовь.

Пески вначале кажутся пустынными. Но наступает день, когда, опасаясь набега повстанцев, мы как бы обретаем способность читать в складках огромного бурнуса пустыни. И набег повстанцев

преображает пески.

Мы включились в игру, приняли ее правила, игра формирует нас на свой лад. Сахара отныне в нас самих. Сблизиться с ней — это не оазис посетить; это — поклоняться воде, как богу.

2

С первого же рейса я познал вкус пустыни. Ригель, Гийоме и я потерпели аварию около небольшого форта Нуатшота. Этот маленький военный пост в Западной Африке был в то время оторван от жизни, как островок, затерянный в море. Старый сержант и его пятнадцать сенегальцев жили в нем затворниками. Сержант принял нас, как посланцев неба:

— Ах! Не могу сказать, как это меня волнует, — слышать ваши голоса... Ах! Не могу сказать, как это меня волнует!

И в самом деле, это его взволновало: он плакал.

— За полгода — вы первые... Мне доставляют припасы раз в полгода. Иногда — лейтенант. Иногда — капитан. В последний раз — капитан...

Мы еще не пришли в себя. Мы находились в двух часах от Дакара, где нас ждал завтрак, когда поломка подшипника изменила нашу судьбу и

мы как из-под земли выросли перед плачущим старым сержантом:

— Ах! Пейте! Какое удовольствие угощать вас вином! Подумайте только! Когда капитан проезжал здесь, мне нечем было угостить капитана.

Я написал об этом в одной книге, но это не было моей выдумкой. Сержант сказал нам:

— В последний раз нечем было даже чокнуться… И мне было так стыдно, что я просил сменить меня.

Выпить! Торжественно выпить с тем, другим, который весь в поту соскочит со своего верблюда. Полгода человек живет ради этой минуты. Заранее в течение целого месяца до блеска начищают оружие, скоблят все — от погребов до чердаков. И, уже за несколько дней, чувствуя приближение благословенного часа, неутомимо вглядываются в горизонт с высоты террасы, чтобы обнаружить пыль, обволакивающую приближающийся отряд, — летучий эскадрон Атара…

Но вино кончилось: невозможно отпраздновать встречу. Нельзя чокнуться — и человек чувствует себя обесчещенным.

— Яс нетерпением жду его возвращения. Я жду его…

— Где он, сержант?

И сержант указывает на пески:
— Неизвестно, он повсюду — наш капитан!

Была в моей жизни и эта ночь, проведенная на террасе форта в разговоре о звездах. Больше наблюдать было не за чем. Звезды присутствовали здесь в полном составе, как при полете, — только стояли неподвижно.

В полете, когда ночь так хороша, забываешься, перестаешь управлять — и самолет мало-помалу накреняется влево. Думаешь, что он еще в горизонтальном положении, как вдруг под правым крылом замечаешь селение. В пустыне нет селений. Ну, тогда рыбачью флотилию в море. Однако на широте Сахары нет и рыбачьих флотилий. Тогда? Тогда улыбаешься своей ошибке. Потихоньку выправляешь самолет — и селение становится на свое место. Как бы подвешиваешь снова на щит сорвавшееся созвездие. Селение? Да. Селение звезд. Но с террасы форта нам видна лишь пустыня — как бы застывшие, неподвижные волны песка. Созвездия висят на своих местах, и сержант говорит нам о них.

— Не бойся! Уж я-то разбираюсь в направлениях… Курс на вот ту звезду — и прямиком в Тунис!

— Ты из Туниса?

— Не я. Моя кузина.

Наступает длительное молчание. Однако сержант не хочет от нас ничего скрывать:

— Когда-нибудь отправлюсь в Тунис.

Конечно, не этим путем — прямиком на звезду. Разве что на одном из этапов перехода высохший колодец приобщит и тебя, сержант, к поэзии бреда. Тогда смешается все: и звезда, и кузина, и Тунис. Тогда начнется тот вдохновенный путь, который мнится невеждам дорогой страданий.

— Я как-то просил у капитана отпуск в Тунис — в связи с этим делом, с кузиной. А он мне сказал…

— Что он тебе сказал?

— А он мне сказал: «Свет полон кузин». А так как до Дакара ближе, то он послал меня туда.

— И хороша она была, твоя кузина?

— Та, из Туниса? Конечно! Она была блондинка.

— Нет, не эта, дакарская.

Расцеловать бы тебя, сержант, за твой немного разочарованный грустный ответ:

— Она была негритянка…

Для тебя, сержант, Сахара — это вечное ожидание бога, который идет к тебе. И эта прелесть белокурой кузины, от которой тебя отделяют пять тысяч километров песка.

Для нас пустыня — это то, что рождалось в нас. То, что мы узнавали о себе. В эту ночь мы тоже были влюблены в кузину и в капитана…

3

Порт-Этьенн, расположенный на границе повстанческого района, это не город. В нем есть небольшой форт, ангар для самолетов и деревянный барак для наших экипажей. Вокруг такое царство пустыни, что, несмотря на слабое военное снаряжение, Порт-Этьенн почти неприступен. Чтобы атаковать форт, надо пересечь такой пояс песка и зноя, что боевые отряды кочевников добираются до форта совершенно обессиленными, полностью истощив запасы воды. И все же люди не помнят времени, когда б откуда-нибудь с севера на Порт-Этьенн не надвигался отряд непокорных кочевников. Каждый раз, заходя к нам на чашку чая, капитан-комендант форта показывает по карте продвижение повстанческих отрядов к Порт-Этьенну, — так рассказывают легенду о прекрасной принцессе. Но отряды эти никогда ни доходят до нас, поглощаемые, как река, песками, — и мы называем их отрядами-призраками. Гранаты и патроны, которые по вечерам выдает нам французское правительство, спят в ящиках

под кроватями. Лучше всего защищенные от врагов своей бедностью, мы вынуждены обороняться лишь от безмолвия. И Люка — начальник аэропорта — днем и ночью заводит граммофон, который в этом глухом углу говорит с нами на полузабытом языке, навевая беспричинную грусть, странным образом напоминающую жажду.

Сегодня вечером мы обедали в форте, и капитан-комендант дал нам возможность полюбоваться своим садом. В самом деле, он получил из Франции три ящика настоящей земли, проделавшие, таким образом, путь в четыре тысячи километров. Из них тянутся три зеленых листа, и мы ласкаем их пальцем, как драгоценности. Капитан иначе не говорит о них, как «мой парк». И когда проносится иссушающий все песчаный вихрь, парк спускают в погреб.

Мы живем в одном километре от форта и после обеда возвращаемся к себе при лунном свете. Песок в лучах луны — розовый. Мы столького лишены, но песок — розовый. Однако окрик часового восстанавливает в мире ощущение тревоги. Это вся Сахара пугается наших теней и допытывается, кто мы, потому что где-то готовится набег.

В крике часового слышатся все голоса пустыни. Она перестала быть пустым домом. Ночь наэлек-

тризована караваном арабов.

Мы могли бы чувствовать себя в безопасности. Куда там! Болезни, аварии, набеги — сколько угроз! Человек — хорошая цель для незримых стрелков. И часовой-сенегалец, подобно пророку, напоминает нам об этом.

Мы отвечаем: «Французы» — и проходим перед чернокожим ангелом. И нам легче дышится. Напоминание об угрозе вернуло нам человеческое достоинство… О! Опасность еще далека, еще туманна, нас отделяют от нее огромные песчаные просторы, но мир уже не тот. Пустыня вновь прекрасна. Продвигающийся где-то повстанческий отряд, который никогда сюда не дойдет, придает ей божественное очарование.

Одиннадцать часов вечера. Люка возвращается с радиостанции и сообщает, что в двенадцать прибудет самолет. На борту — без происшествий. В ноль десять почту перебросят в мой самолет, и я вылечу на север. Осторожно бреюсь перед поломанным зеркалом. Время от времени, с обернутым вокруг шеи мохнатым полотенцем, подхожу к двери и вглядываюсь в голые пески: погода хорошая, но ветер стихает. Возвращаюсь к зеркалу. Размышляю. Когда внезапно спадает ветер, установившийся на месяцы, это подчас

выводит из равновесия все небо. Теперь снаряжаюсь: запасные лампы — на пояс, альтиметр, карандаши. Иду к Нери, который будет в эту ночь моим бортрадистом. Он тоже бреется. Я спрашиваю: «Все нормально?» Пока что все нормально. Эта предварительная операция — самое несложное в полете. Внезапно слышу легкое потрескивание: стрекоза бьется о мою лампу. Не знаю почему, но от этого звука у меня щемит сердце.

Я выхожу еще раз и смотрю: все чисто. Скала на краю поля вырисовывается на фоне неба, как днем. В пустыне тишина, точно в хорошо налаженном доме. Но вот опять зеленый мотылек и две стрекозы ударяются о мою лампу. И снова меня одолевает какое-то неясное чувство: то ли радость, то ли тревога. Чувство это едва зарождается, оно еще совсем смутное, но поднимается из самой глубины моего существа. Кто-то говорит со мной из дальней дали. Инстинкт это, что ли? Выхожу еще: ветер совсем затих. Все еще прохладно. Но я получил предупреждение. Я догадываюсь, мне кажется, я догадываюсь, чего жду; но верно ли это? Ни небо, ни пески не подали мне сигнала, но две стрекозы и зеленый мотылек говорили со мной.

Взбираюсь на дюну и сажусь лицом к востоку. Если я прав, то «это» не заставит себя долго ждать. Чего искали они здесь, эти стрекозы, в сотнях километров от внутренних оазисов? Небольшие обломки, выбрасываемые волнами на пляж, говорят о том, что в море свирепствует циклон. Так и эти насекомые указывают мне на приближение песчаной бури — бури с востока, изгнавшей зеленых мотыльков из далеких пальмовых рощ. Ее пена уже коснулась меня. И торжественно, ибо он тому доказательство, и торжественно, ибо он полон угрозы, и торжественно, ибо он несет бурю, поднимается восточный ветер. Его горячее дыхание едва-едва коснулось меня. Я — последний рубеж, которого достигла волна. Будь в двадцати метрах позади меня какое-нибудь полотнище, оно и не шелохнулось бы. Ветер один-единственный раз обжег меня замирающей лаской. Но мне хорошо известно, что в ближайшие секунды Сахара переведет дыхание и снова вздохнет. Не пройдет и трех минут — и ветровой флаг на нашем ангаре заполощется. Не пройдет и десяти минут — и воздух будет пронизан песком. Нам предстоит подняться в это пекло, в это огненное полыхание пустыни.

Но не это волнует меня. Бурная радость напол-

няет меня оттого, что, подобно первобытному дикарю, по малейшим признакам догадывающемуся об ожидающей его судьбе, я понял с полуслова тайный язык пустыни, прочел ее ярость в биении крылышек стрекозы.

4

В пустыне мы соприкасались с непокорными арабами. Они появлялись из глубин недоступных районов, над которыми мы пролетали, и отваживались наведываться в форты Джуби и Сиснерос, чтобы купить сахарные головы или чай, затем их вновь окутывала тайна. А мы пытались во время этих посещений приручить кого-нибудь из них.

Если нас навещал влиятельный вождь, то, бывало, с согласия администрации, мы брали его на борт самолета, чтобы показать ему мир. Было не лишним сбить с кочевников спесь, ибо они убивали пленных не столько из ненависти, сколько из презрения к ним. Встречая нас поблизости от фортов, они даже не тратили на нас ругательств. Отворачивались и плевали в сторону. Их гордыня питалась обманчивым представлением о своем могуществе;. Сколько таких вождей, снарядивших в поход армию в триста ружей, говорили мне: «Ваше счастье, что до Франции больше ста

дней пути...»

Вот мы и катали их, и вышло так, что три араба посетили незнакомую им Францию. Эти трое были людьми той же породы, что и те, которые, попав со мной однажды в Сенегал, заплакали, увидев деревья.

Когда я некоторое время спустя посетил их палатку, они восторженно говорили о мюзик-холлах, где обнаженные женщины танцуют среди цветов. Ведь это были люди, не видевшие никогда ни дерева, ни фонтана, ни розы, знавшие лишь из корана о существовании садов, где текут ручьи, ибо так сказано там о рае. За этот рай с его прекрасными пленницами нужно заплатить горькой смертью в песках от пули неверного, после тридцати лет страданий. Но бог обманывает их, раз он не требует от французов, обладающих всеми этими сокровищами, никакого выкупа — ни жажды, ни смерти. Вот почему размечтались теперь старые вожди. Вот почему, вглядываясь в Сахару, в пустыню, которая раскинулась вокруг их шатра и до самой смерти обещает лишь скудные радости, они делятся самым сокровенным.

— Знаешь... французский бог... гораздо щедрее к французам, чем бог арабов к арабам.

За несколько недель перед тем их катали по

Савойе. Гид привел их к тяжелому, ревущему водопаду, напоминавшему колонну сплетенных струй:

— Попробуйте, — сказал он им.

И это была пресная вода. Вода! Сколько дней пути потребовалось бы в пустыне, чтобы добраться до ближайшего колодца, — да еще найдешь ли его! Сколько часов надо потом разрывать песок, которым он заполнен, чтобы добраться до грязной жижи, смешанной с верблюжьей мочой! Вода! В Кап-Джуби, в Сиснеросе, в Порт-Этьенне туземные дети выпрашивают не деньги, — с консервной банкой в руке они выпрашивают воду:

— Дай немного воды, дай!..

— Если будешь послушным.

Вода расценивается на вес золота; вода высекает из песка зеленую искорку — былинку травы. Стоит где-либо выпасть дождю, как в Сахаре начинается великое переселение. Целые племена отправляются за триста километров на поиски травы... И вот эта скупая вода, ни капли которой не выпало за десять лет в Порт-Этьенне, шумела в Савойе так, словно из продырявленной цистерны хлестала вся вода вселенной.

— Едем дальше! — говорил им гид.

Но они не двигались с места:

— Подожди еще…

Молча, серьезно, сосредоточенно наблюдали они за этим торжественным таинством. То, что вырывалось из недр горы, было жизнью, кровью людей. Водой, вытекавшей за одну секунду, можно было воскресить целые караваны, которые, опьянев от жажды, навсегда погрузились в бесконечность соляных озер и миражей. Здесь вещал бог: они не могли повернуться к нему спиной. Открывая шлюзы, бог проявлял свое могущество — и три араба замерли.

— Чего вы еще ждете? Идемте…

— Надо подождать.

— Подождать чего?

— Конца.

Они хотели дождаться часа, когда бог устанет от своего безумства. Он раскаивается быстро, он скуп.

— Но ведь эта вода течет уже тысячу лет!..

Вот почему в этот вечер они не настаивают больше на разговоре о водопаде. О некоторых чудесах лучше не говорить. Лучше даже не слишком задумываться, не то перестаешь что-либо понимать, не то начинаешь сомневаться в боге…

— Французский бог, видишь ли…

Я хорошо знаю моих друзей — варваров. Сей-

час они поколеблены в своей вере, растеряны и почти готовы покориться. Они мечтают, чтобы французское интендантство снабжало их ячменем и чтобы наши войска в Сахаре обеспечивали их безопасность. Оно и верно, материально они бы выиграли, если бы покорились.

Но все три вождя — из того же теста, что и Эль Мамун, эмир Тразры. (Возможно, я перепутал имя.)

С этим эмиром я познакомился, когда он был нашим вассалом. Добившись за свои услуги официальных почестей, одаренный губернаторами, почитаемый племенами, казалось он не испытывал ни малейшего недостатка в зримых благах. Но однажды ночью, без всякого предупреждения, он убил сопровождавших его в пустыне офицеров, захватил их ружья, верблюдов и присоединился к непокорным племенам.

Эту внезапную непокорность, это героическое и в то же время отчаянное бегство ставшего отныне изгнанником вождя, эту вспышку гордости, которая, подобно ракете, вскоре угаснет, наткнувшись на летучий эскадрон Агара, обычно называют предательством. И поражаются внезапному безумству этих людей.

А между тем история Эль Мамуна повторялась

со многими арабами. Они старели. А когда стареешь, задумываешься. И однажды вечером Эль Мамун обнаружил, что, закрепляя пожатием христианских рук тот обмен, который означал для него потерю всего, — он замарал руки и предал бога Ислама.

И в самом деле, что для него ячмень и мирное житье? Падший воин, ставший пастухом, он вспоминает, что когда-то каждая складка песка в Сахаре грозила ему скрытыми опасностями, что каждый раскинутый им в ночи лагерь выставлял вокруг сторожевых, что каждое полученное у ночного костра известие о передвижениях врага заставляло биться сердце. Он вспоминает вкус открытого моря, — однажды насладившись им, человек уже не может его забыть.

И вот теперь он бродит бесславно по замиренным, лишенным прежнего достоинства просторам. Теперь, только теперь Сахара стала для него пустыней.

Быть может, он даже относился с почтением к офицерам, которых решил убить. Но любовь к Аллаху — прежде всего.

— Спокойной ночи, Эль Мамун.

— Храни тебя бог!

Растянувшись на песке, как на плоту, завернув-

шись в одеяла, офицеры лежат лицом к звездам. Медленно движутся звезды — небо указывает время. А вот и луна спускается к пескам — влекомая в небытие его мудростью. Христиане скоро заснут. Еще несколько минут — и только звезды будут светить. И тогда, чтобы вернуть былое величие лишенным доблести племенам, чтобы снова начать набеги, озаряющие пески, достаточно будет слабого вскрика христиан — вскрика, который утонет в их собственном сне… Еще несколько мгновений — и из непоправимого возникнет целый мир…

И он убивает погруженных в сон изящных лейтенантов.

5

Сегодня в Джуби Кемаль и его брат Муян пригласили меня в гости, и я пью чай в их шатре. Муян молча разглядывает меня. Голубая повязка закрывает его губы; он держится угрюмо и неприступно. Только Кемаль разговаривает со мной, оказывает мне знаки внимания:

— Мой шатер, верблюды, жены, рабы — все твое.

По-прежнему, не спуская с меня глаз, Муян наклоняется к брату, произносит несколько слов

и снова погружается в молчание.

— Что он сказал?

— Он говорит: «Боннафус угнал из Р'Гейбата тысячу верблюдов».

Этот Боннафус — офицер-мегарист[5] летучих эскадронов Атара; я не знаю его. Но мне известна его легендарная слава среди арабов. Они говорят о нем с гневом, но как о некоем божестве. Его существование красит пески. Неизвестно, как и откуда он внезапно опять появился, настиг двигающиеся на юг непокорные племена. Сотнями угоняя их верблюдов, он вынудил кочевников, убежденных в удаче набега, обернуться против него, чтобы спасти свои сокровища. *И* теперь, подобно архангелу, избавившему Атара от опасности, он раскинул лагерь на известковом плоскогорье и стоит на виду у всех, как вожделенная добыча. Притягательная сила его так велика, что заставляет племена устремиться на его меч.

Муян окидывает меня еще более жестким взглядом и снова произносит что-то.

— Что он сказал?

— Он говорит: «Завтра мы выступим в поход против Боннафуса. Триста ружей».

---

[5] Примечания: 5
Офицер арабской кавалерии на верховых верблюдах.

Я уже догадывался кое о чем. Три дня, как верблюдов водят на водопой, все время идут какие-то совещания, страсти накалены. Такое впечатление, точно оснащают невидимый парусник. И уже дует морской ветер, который унесет его. Благодаря Боннафусу каждый шаг на юг становится шагом к славе. И я не могу разобраться, чего больше в таком походе, любви или ненависти.

Ведь это роскошь — иметь возможность убить такого великолепного врага. Там, где он появляется, племена свертывают шатры, собирают верблюдов и, дрожа от страха, бегут, чтобы только не встретиться с ним лицом к лицу, но племена, находящиеся в отдалении, охватывает безумие, подобное любви. Люди вырываются из покоя шатров, из объятий жен, из счастливого забвенья снов и открывают, что ничто на свете не может дать той радости, которую после трехмесячного изнуряющего похода на юг, после жгучей жажды, после ожиданий под ударами песчаного вихря может принести на рассвете внезапное нападение на летучий эскадрон Атара и, если на то будет воля божья, убийство капитана Боннафуса.

— Боннафус силен, — признает Кемаль.

Теперь мне известен их секрет. Подобно тому как мужчинам, жаждущим обладать женщи-

ной, грезится, как она неторопливо проходит, равнодушная и недоступная, и они всю ночь переворачиваются с боку на бок, пораженные в самое сердце, уязвленные ее гордой походкой, которая преследует их даже во сне, — точно так отдаленные шаги Боннафуса терзают арабов. Обойдя отряды, выступившие в поход против него, этот христианин, одетый как араб, проник во главе своих двухсот арабов-пиратов в район непокорных племен, туда, где последний из его людей, освобожденный от власти французов, может отрешиться от рабской покорности и на каменном алтаре принести этого христианина в жертву своему богу, Боннафус проник туда, где только его престиж удерживает их, где сама его слабость их пугает. В эту ночь он бесстрастно ходит взад и вперед среди своих спящих тяжелым сном людей, и звук его шагов отдается в самом сердце пустыни.

В глубине шатра Муян по-прежнему задумчив и неподвижен, как барельеф из голубого гранита. Сверкают только глаза да серебряный кинжал, переставший уже быть игрушкой. Как изменился он с тех пор, как присоединился к непокорным кочевникам! Как никогда раньше, он полон достоинства и подавляет меня своим презрением,

ибо он пойдет на Боннафуса, ибо на заре он выступит в поход, подстегиваемый ненавистью, по всем признакам напоминающей любовь.

Снова он наклоняется к брату, тихо говорит что-то, не спуская с меня глаз.

— Что он сказал?

— Он говорит, что будет стрелять в тебя, если встретит далеко от форта.

— Почему?

— Он говорит: «У тебя самолеты и радио, у тебя Боннафус, но у тебя нет истины».

Неподвижный, в окаменевших складках голубого покрывала, Муян судит меня:

— Он говорит: «Ты ешь салат, как козы, и свинину, как свинья. Твои бесстыжие женщины показывают лицо: он сам видел. Он говорит: ты никогда не молишься. Он говорит: на что тебе твои самолеты, твое радио, твой Боннафус, если у тебя нет истины?»

И я восхищаюсь этим арабом, который защищает не свою свободу, — в пустыне человек всегда свободен, — защищает не незримые сокровища — пустыня гола, — но свой потаенный мир. В тиши песчаных волн Боннафус, как старый корсар, ведет свой эскадрон, и благодаря ему этот лагерь у Кап-Джуби перестает быть стойбищем мирных

пастухов. Буря, поднятая Боннафусом, налетела на лагерь, из-за нее жмутся друг к другу по вечерам шатры. Как ранит сердце безмолвие на юге: это безмолвие Боннафуса! И старый охотник Муян слышит в шуме ветра его шаги.

Когда Боннафус вернется во Францию, его враги не только не обрадуются, но будут даже огорчены, как если бы с его отъездом пустыня утратила один из своих полюсов, а их существование — частицу своего ореола; и они будут говорить мне:

— Зачем он уезжает, твой Боннафус?

— Не знаю…

В течение многих лет Боннафус, как и они, ставил на карту свою жизнь. Их правила стали его правилами. Он спал положив голову на их камни. Во время нескончаемых преследований он, как и они, познал библейские ночи, полные звезд и ветра. И вот, уезжая, он показывает, что все это было для него лишь игрой. Он небрежно отходит от стола. И арабы, оставленные играть сами с собой, теряют веру в смысл этой жизни, которая, оказывается, не поглощает противника целиком. И все же им хочется верить в него:

— Он вернется, твой Боннафус!

— Не знаю.

Вернется, думают арабы. Европейские игры

— гарнизонные бриджи, повышения по службе, женщины — не смогут его больше удовлетворить. Он вернется, преследуемый ощущением утраченной доблести, туда, где каждый шаг заставляет биться сердце, как шаг навстречу любви. Ему казалось, что пережитое здесь — лишь приключение, а главное ждет его там, но он откроет с отвращением, что единственными подлинными богатствами он владел здесь, в пустыне: великолепием песков в ночи, безмолвием, миром звезд и ветров. И если Боннафус когда-нибудь вернется, весть об этом в первую же ночь распространится среди всех непокорных племен. Арабы будут знать, что где-то в Сахаре среди своих арабов-пиратов спит Боннафус. И тогда молча поведут они верблюдов к колодцу. Приготовят запас ячменя. Проверят затворы. Побуждаемые этой ненавистью или этой любовью.

6

— Спрячь меня в самолете на Марракеш!

Каждый вечер в Джуби невольник арабов обращался ко мне с этой краткой мольбой. После чего, сделав все от него зависящее, чтобы обрести жизнь, он садился, скрестив ноги, и приготовлял мне чай. Доверившись, как ему казалось, един-

ственному лекарю, способному его излечить, помолившись единственному богу, могущему его спасти, он на один день обретал покой. Теперь он мог, склонившись над чайником, перебирать в уме несложные картины своей жизни; черные марракешские земли, розовые дома, убогое имущество, которого он был лишен. Его не обижало ни мое молчание, ни то, что я так медлил вернуть ему жизнь: я был для него не человеком, таким же, как он, а силой, которую нужно привести в действие, чем-то вроде попутного ветра, способного когда-нибудь сдвинуть с места его судьбу.

А между тем я был лишь простым пилотом, назначенным на несколько месяцев начальником аэропорта в Кап-Джуби. Все мое достояние заключалось в бараке, приткнувшемся к испанскому форту, в тазе для умывания, кувшине соленой воды и чересчур короткой кровати, — больше в этом бараке ничего не было. Я не разделял его иллюзий относительно моего могущества:

— Посмотрим, старина Барк…

Всех невольников зовут Барками, звался Барком и он. Несмотря на четыре года плена, он все еще не смирился: он помнил, что был королем.

— Что ты делал, Барк, в Марракеше?

В Марракеше, где жила еще, вероятно, его же-

на с тремя детьми, у него было замечательное ремесло:

— Я был погонщиком скота, и меня звали Мохаммедом!

Местные каиды приглашали его к себе:

— *У* меня есть быки на продажу, Мохаммед. Пригони их с гор.

Или:

— У меня тысяча баранов на равнине. Отведи их повыше, на пастбища.

И вооруженный оливковым скипетром Барк управлял их переселением. Он один нес ответственность за целый народ овец. Сдерживая наиболее прытких, из-за ягнят, которые должны были появиться на свет, слегка подгоняя ленивых, он шествовал, окруженный всеобщим доверием и послушанием. Один он знал, к какой обетованной земле они шли, один он умел читать путь по звездам, полный знания, которое не дано овцам, один он устанавливал в своей мудрости час отдыха, час водопоя. И, стоя в ночи посреди спящего стада, охваченный нежностью к великой слабости стольких невежественных существ, купаясь в волнах шерсти, Барк — лекарь, пророк и царь — молился за свой народ.

Однажды к нему обратились арабы:

— Пойдем с нами на юг за скотом.

Путь их был долог, и когда через три дня они по глухой тропе углубились в горы и очутились у границ непокорных земель, его попросту схватили, окрестили Барком и продали в рабство.

Я знал и других рабов. Ежедневно ходил я пить чай в шатры к арабам. Лежа здесь с босыми ногами на пушистом шерстяном ковре — единственной роскоши кочевников, — на котором они на несколько часов возводят свой дом, я следил, как день неудержимо катится к вечеру. В пустыне ощущаешь бег времени. Под палящим солнцем держишь путь к вечеру, к свежему ветру, который омоет тело, смоет пот. Под палящим солнцем животные и люди держат путь к этому великому водопою ветра и ночи, так же неотвратимо, как к смерти. Это придает смысл даже праздности. И каждый день кажется прекрасным, как дороги, ведущие к морю.

Я знал их, этих рабов. Они входят в шатер, как только вождь вытащит жаровню, чайник и стаканы из ящика с сокровищами, из тяжелого ящика с нелепыми вещами — замками без ключей, цветочными вазами без цветов, грошевыми зеркальцами, старым оружием, — вещами, которые, будучи занесены в пески, напоминают пену

кораблекрушения.

И вот безмолвный раб наполняет жаровню сухими травами, раздувает жар, наполняет чайник, играя на этой детской работе мышцами, которым по силам корчевать кедры. Он умиротворен. Он поглощен игрой: готовить чай, ухаживать за верблюдом, есть. Знойным днем двигаться к ночи, а под ледяным дыханием звезд — мечтать о палящем зное дня. Счастливы северные страны, где времена года нашептывают летом — сказание о снеге, зимой — сказание о солнце; грустно в тропиках, в этой парильне, где ничто почти не меняется; счастлива и Сахара, где день и ночь так просто перебрасывают людей от одной надежды к другой.

Иногда черный раб, присев на корточки у входа в шатер, наслаждается вечерней прохладой. В грузном теле пленника больше не всплывают воспоминания. Он уже едва помнит час похищения, удары, крики, руки людей, поваливших его, ввергших в этот мрак рабства. С того часа он погрузился в странное забытье, как бы ослеп, лишенный зрелища тихих сенегальских рек или белых домов марокканского юга, как бы оглох, лишенный звуков голоса своих близких. Он не несчастен, этот негр, он — калека. Втянутый од-

нажды в жизнь кочевников с их переселениями, навсегда прикованный к кругам, которые они описывают в пустыне, что общего сохранил он со своим прошлым, с домом, с женой и детьми? Это прошлое для него так же мертво, как если бы его близкие действительно умерли.

Люди, долгое время жившие большой любовью, а затем лишенные ее, подчас устают от благородного одиночества. Они смиренно возвращаются к жизни и находят счастье в будничном чувстве. Они находят усладу в самоотречении, в заботах, в покое домашнего очага. Пылающая жаровня хозяина становится гордостью раба.

— Вот возьми, — говорит иногда вождь пленнику.

Это час, когда хозяин добр к рабу, оттого что спадает усталость, спадает палящий зной, оттого, что оба они бок о бок погружаются в прохладу. И он позволяет рабу взять стакан чаю. А полный признательности пленник готов целовать за этот стакан чаю колени своего господина. Раба никогда не заковывают в цепи. Ведь они не нужны! Ведь он верен хозяину! Ведь он так мудро подавил в себе достоинство низверженного негритянского короля; теперь он лишь счастливый пленник.

Однако придет день — и его освободят. В день,

когда он чересчур состарится, чтобы стоило тратить на него пищу или одежду, ему предоставят полнейшую свободу. Напрасно будет он три дня ходить от шатра к шатру, предлагая свои услуги; с каждым днем становясь все слабее, к концу третьего он все с той же покорностью ляжет на песок. Я видел, как в Джуби умирали обнаженные рабы. Арабы наблюдали их длительную агонию, но даже не проявляли жестокости, а дети играли возле черного обломка и на заре бежали посмотреть, шевелится ли он еще. Но и они не смеялись над старым слугой. Все это было так же в порядке вещей, как если бы ему сказали: «Ты хорошо поработал, ты имеешь право на отдых, пойди поспи». Он же, все еще распростертый на песке, чувствовал голод, — не несправедливость, которая мучит, а всего лишь головокружение. Постепенно он сливался с землей. Она принимала его, высушенного солнцем. Тридцать лет работы, потом право на сон и на землю!

Первый такой старик, которого я встретил, даже не жаловался: да ему и не на кого было сетовать. Я угадал в нем своего рода смутное смирение гибнущего, обессилевшего горца, который ложится на снег и отдается во власть грез и снега. Меня взволновали даже не его страдания. Я нс

верил в них. Но в умирающем человеке умирает неведомый мир, и я спрашивал себя, какие образы угасают в нем. Какие плантации Сенегала, какие белые города Южного Марокко погружаются мало-помалу в небытие? Я не мог узнать, угасают ли в этой черной массе заботы, попросту ничтожные: приготовить чай, отвести скот на водопой… погружается ли в сон душа раба, или, воскрешенный наплывом воспоминаний, человек умирает во всем своем величии. Твердые кости черепа уподоблялись для меня старому ящику с сокровищами. Я не мог узнать, какие разноцветные шелка, какие праздничные картины, какие — бесполезные, ненужные здесь в пустыне — останки прошлого ускользнули от кораблекрушения. Ящик был здесь, тяжелый, запертый. Я не мог узнать, какая часть мира разрушалась в человеке во время великого сна последних дней; что разрушалось в этом сознании, в этой плоти, которая мало-помалу снова становилась ночью и почвой.

— Я был погонщиком скота, и меня звали Мохаммедом…

Черный невольник Барк был первым из встреченных мною рабов, который не сдавался. Пусть арабы в один день лишили его свободы и досто-

яния. Он был гол, как новорожденный. Бывает, бог насылает бурю, которая так, в один час, уничтожает жатву человека. Страшнее, чем потеря достояния, была угроза его личности. Но в то время как столько пленников давали без сопротивления умереть в себе бедному погонщику скота, круглый год трудившемуся ради куска хлеба, Барк не сдавался!

Барк не сжился с рабством, как, устав ждать, сживаются с будничным счастьем. Он не желал, как раб, черпать радость в доброте владыки рабов. Он хранил в своем сердце дом для отсутствующего Мохаммеда, дом, в котором тот жил когда-то. Дом — грустный, оттого что пустой. Дом, в котором никто другой никогда не будет жить. Барк напоминал поседевшего сторожа, который среди трав парка, среди скуки безмолвия умирает от верности.

Он не говорил: «Я Мохаммед бен Лхаусин», а — «Меня звали Мохаммедом», и мечтал о том дне, когда эта забытая личность возродится и самым своим возрождением сотрет всякую память о том, что он был рабом. Иногда в ночной тиши воспоминания овладевали им, яркие, как детская песенка. «Среди ночи, — рассказывал нам араб-переводчик, — среди ночи он говорил

о Марракеше и плакал». Одинокому человеку не избежать таких возвратов к прошлому. Тот, другой, просыпался в нем без всякого предупреждения, потягивался, искал рядом с собой жену, здесь — в этой пустыне, где ни одна женщина не приближалась к Барку; прислушивался к журчанию воды, здесь, где никогда не протекал ни один родник. Закрывая глаза, Барк верил, что живет в белом доме, над которым каждую ночь восходит та же звезда, и это здесь, где люди живут в домах из грубой шерстяной ткани и гонятся за ветром. Обремененный грузом старых, неведомо как оживших привязанностей, которые влекли его к себе, как магнит, Барк шел ко мне. Ему хотелось мне сказать, что он уже наготове, что вся его нежность наготове и, чтобы излить ее, нужно только вернуться домой. Достаточно было бы одного моего знака. И Барк, улыбаясь, объяснял мне, как все несложно, — я, вероятно, просто еще не подумал об этом:

— Завтра как раз прибывает почта. Ты спрячешь меня в самолете, на Агадир…

— Бедный старик Барк!

Ведь мы жили среди непокорных племен. Как могли мы помочь его бегству? Завтра же арабы отомстили бы бог знает какой резней за этот

грабеж и оскорбление. Я, правда, пытался с помощью механиков аэропорта Лоберга, Маршаля и Абграля купить Барка, но не каждый день арабы встречают европейцев, желающих купить раба. Они заламывали цену.

— Двадцать тысяч франков.

— Ты что, смеешься?

— Смотри, какие у него сильные руки!

И так проходили месяцы.

Наконец, арабы уступили, и с помощью друзей из Франции, которым я написал, я смог купить старого Барка.

Это были замечательные торги. Продолжались они восемь дней. Вели их пятнадцать арабов и я, сидя кружком на песке. Друг хозяина, а также и мой, разбойник Зин-Улд-Рхаттари тайно помогал мне.

— Продай его, не то все равно потеряешь, — говорил он по моему наущению владельцу. — Он болен. Болезнь сначала не видна, но она внутри. Придет день — и он вдруг начнет пухнуть. Поживей продай его французу.

Я обещал комиссионные и другому разбойнику, Рагги, если он поможет мне заключить сделку, — и Рагги соблазнял хозяина:

— На эти деньги ты купишь верблюдов, ружья,

патроны. Ты сможешь тогда отправиться в набег и воевать с французами. Ты приведешь из Атара трех, четырех совершенно здоровых рабов. Сбудь с рук этого старика.

И мне продали Барка. Целых шесть дней я держал его под замком в нашем бараке. Если бы он бродил повсюду до прибытия самолета, арабы снова схватили бы его и перепродали дальше.

На всякий случай я освободил его из рабства. Это послужило поводом для еще одной замечательной церемонии. Пришел марабут[6], бывший хозяин Барка и Ибрагим— каид Джуби. Эти трое пиратов, которые в двадцати метрах от форта с радостью отрезали бы Барку голову ради одного удовольствия сыграть со мной шутку, горячо расцеловались с ним и подписали официальный акт.

— Теперь ты наш сын.

Согласно закону он был и моим сыном.

И Барк расцеловал всех своих отцов.

Пока не настал час отъезда, тянулся приятный для него плен в нашем бараке. Он заставлял по сто раз на день описывать ему нетрудное путешествие: он сойдет в Агадире, и ему вручат в этом

---

[6] Примечания: 6
Духовное лицо у мусульман.

аэропорту билет на автобус до Марракеша. Барк играл в свободного человека, как ребенок играет в путешественника: возвращение к жизни, автобус, толпы людей, города, которые он увидит снова…

От имени Маршаля и Абграля явился ко мне Лоберг. Нельзя допустить, чтобы, сойдя с самолета, Барк умер с голоду. Они дали мне для него тысячу франков: Барк сможет жить на них некоторое время, пока найдет работу.

Мне вспомнились старые дамы из благотворительных обществ, которые «делают доброе дело», давая двадцать франков, и еще требуют благодарности. Авиационные механики Лоберг, Маршаль, Абграль, давая тысячу, не занимались благотворительностью и меньше всего думали о благодарности. Не были они движимы и жалостью, как те же старые дамы, мечтающие о счастье. Они попросту помогали вернуть человеку его человеческое достоинство. Они, как и я, слишком хорошо знали, что, когда пройдет угар возвращения, первой верной подругой, которая встретит Барка, будет нищета и что не пройдет и трех месяцев, как он будет надрываться, выворачивая шпалы где-либо на прокладке железной дороги. Он будет менее счастлив, чем здесь, у нас

в пустыне. Но он имел право оставаться самим собой и жить среди близких.

— Ну вот, старина Барк, поезжай и будь человеком.

Самолет вздрагивал, готовый к отлету. В последний раз взглянул Барк на унылые просторы Кап-Джуби. Перед самолетом столпилось около двухсот арабов, чтобы посмотреть, как выглядит раб на пороге жизни. Случись в пути авария, они опять схватят его.

А мы прощально махали рукой нашему пятидесятилетнему новорожденному, немного взволнованные тем, что отваживаемся выпустить его в свет.

— Прощай, Барк!

— Нет.

— Как «нет»?

— Нет. Я Мохаммед бен Лхаусин.

Последнее известие о нем принес нам араб Абдаллах, который по нашей просьбе помогал Барку в Агадире.

Автобус отправлялся лишь вечером, у Барка был впереди целый день. Сначала он долго и безмолвно бродил по городку, и Абдаллах, догадавшийся, что он чем-то озабочен, забеспокоился:

— В чем дело?

— Ничего…

Слишком широк был простор этой неожиданной свободы, и Барк еще не мог ощутить, что родился заново. Он, правда, чувствовал смутную радость, но, помимо этого, между вчерашним и сегодняшним Барком не было никакой разницы. А между тем отныне он разделял на равных началах с другими людьми и солнце и право усесться здесь, под навесом арабского кафе. И он сел, заказал чаю для Абдаллаха и для себя. Это был его первый жест хозяина: такая власть должна была бы преобразить его. Но слуга без удивления налил ему чай, как будто в этом не было ничего особенного. Наливая чай, он не чувствовал, что славит свободного человека.

— Пойдем в другое место, — сказал Барк.

Они поднялись к Касбе, которая господствует над Агадиром.

К ним подошли маленькие берберские танцовщицы. Они были такие приветливые и ласковые — Барку показалось, что он оживает: сами того не зная, они приветят его вступление в жизнь. Взяв Барка за руки, они предложили ему чаю, очень мило, но так же, как предложили бы это всякому другому. Барк захотел рассказать им о своем

воскресении. Они ласково смеялись. Они были рады за него, раз он был рад. Чтобы привести их в восторг, он добавил: «Я Мохаммед бен Лхаусин». Но это их и вовсе не удивило. У каждого человека есть имя, и многие возвращаются издалека…

И он снова потащил Абдаллаха в город. Он бродил возле еврейских лавчонок, смотрел на море, думал о том, что может идти куда хочет, что он свободен… Но свобода эта показалась ему горькой: она особенно ясно давала ему почувствовать, как он оторван от всех.

Прошел ребенок — и Барк погладил его по щеке. Ребенок улыбнулся. Это не был господский сын, которому льстят. Это *был слабый ребенок,* которого Барк одарил лаской. И он улыбался. Этот ребенок разбудил Барка — и благодаря слабому ребенку, который должен был ему улыбнуться, Барк ощутил немного свое значение на земле. Что-то зрело в его душе, и он шел теперь размашистым шагом.

— Что ты ищешь? — спрашивал Абдаллах.

— Ничего, — отвечал Барк.

Но, наткнувшись за поворотом улицы на кучку играющих детей, он остановился. Это здесь. Он молча взглянул на них. Затем, отойдя к еврейским лавочкам, вернулся, нагруженный

подарками. Абдаллах возмутился:

— Вот дурак, не трать же ты деньги!

Но Барк не слушал его. Он величественно сделал знак каждому. Маленькие ручки потянулись к игрушкам, браслетам, вышитым золотом туфлям. И каждый ребенок убегал, как дикарь, крепко зажав в руке свое сокровище.

Услышав об этом, другие агадирские дети прибежали к нему: Барк обул их в золотые туфли. И другие дети, уже из окрестностей Агадира, до которых тоже дошел слух, примчались с криками к черному богу и, вцепившись за его одежду раба, требовали своей доли. Барк разорялся.

Абдаллах решил, что он «сошел с ума от радости». Но я думаю, что для Барка дело было не в том, чтобы поделиться излишком счастья.

Он снова был свободен, он обладай основными благами: правом на чью-то любовь, правом направиться на север или на юг, правом зарабатывать хлеб своим трудом. На что ему эти деньги… Ведь им владела, подобно чувству голода, потребность быть человеком среди людей, восстановить связь с людьми. Агадирские танцовщицы были ласковы со старым Барком, но он так же легко расстался с ними, как и встретился: они не нуждались в нем. Слуга в арабском кафе, про-

хожие — все уважали в нем свободного человека, как с равным делились с ним своим солнцем, но ни один из них не показал, что нуждается в нем. Он был свободен — слишком свободен, он даже не ощущал тяжести своих шагов на земле. Ему недоставало тяжести человеческих взаимоотношений, которая затрудняет движения, — слез, прощаний, упреков, радости — всего того, что человек укрепляет или рвет каждым жестом, — той тысячи уз, которые привязывают его к другим и отягощают его. А теперь с Барком были уже связаны тысячи надежд…

Так в великолепии солнечного захода над Агадиром, в прохладе, которая так долго одна только и была для него и долгожданной лаской и единственным кровом, началось царствование Барка. И, когда наступил час отъезда, Барк шел, купаясь в этом приливе детей, как некогда в приливе овец, проводя свою первую борозду в возвращенном ему мире. Завтра он вернется к убожеству родного дома, на него ляжет ответственность за большее число жизней, чем могут, вероятно, прокормить его старые руки, но уже здесь он обрел свой подлинный вес.

Подобно архангелу, слишком невесомому, чтобы жить жизнью людей, вынужденному плу-

товать, подшивая к поясу груз, Барк передвигался с трудом, притягиваемый к земле тысячами детей, которым так нужны золотые туфли.

7

Такова пустыня. Коран, который только правило игры, превращает ее пески в мир, живущий по своим законам. В глубинах Сахары, кажущихся пустыми, тайно разыгрывается драма, которая будит людские страсти. Подлинная жизнь пустыни состоит не из кочевий в поисках пастбищ, а из игры, которая не сыграна. Какая разница между миром покоренных песков и миром непокоренных! И не относится ли это ко всем людям? Перед лицом преображенной пустыни мне вспоминаются игры моего детства — сумрачный золотистый парк, который мы населили божествами, безграничный мир, сотворенный нами из никогда не познанного до конца, никогда полностью не обследованного квадратного километра. Мы создали замкнутую цивилизацию, где шаги звучали по-своему, где вещи имели свой смысл, не доступный им нигде в другом месте. Что осталось теперь, когда ты стал взрослым и живешь по иным законам, от этого парка, полного волшебными, ледяными, жгучими тенями дет-

ства; возвращаешься в парк, чувствуя отчаяние, прогуливаешься снаружи вдоль его маленькой серо-каменной стены и поражаешься, что царство, казавшееся тебе бескрайним, заключено в такую тесную ограду, и понимаешь, что никогда тебе не вернуться в былые бескрайние царства, потому что войти надо не в парк, а в игру.

Но нет больше непокорных племен. Нет больше тайн в Кап-Джуби, Сиснеросе, Пуэрто-Кансадо, ла Сагует-Эл-Хамра, Дора, Смарра. Горизонты, которые нас влекли, угасли один за другим, подобно тому как насекомые теряют свою окраску, попав в западню теплых рук. Но тот, кто гнался за ними, не был игрушкой воображения. Не ошибались и мы в нашей погоне за открытиями. Как и султан из «Тысячи и одной ночи», пытавшийся овладеть веществом столь неуловимым, что пленные красавицы одна за другой угасали в его объятиях, теряя золото своих крыльев, когда он дотрагивался до них. Мы упивались волшебством песков. Быть может, другие будут рыть в них нефтяные колодцы и обогащаться, торгуя. Но они опоздали. Ибо запретные пальмовые рощи или девственная пыль ракушек отдали уже нам то, что было у них самым драгоценным: они дарили лишь один час восторга — и этот час выпал на нашу долю.

Пустыня? Мне довелось однажды подступиться к самому ее сердцу. В 1935 году я совершал перелет в Индо-Китай, но очутился в Египте, у границ Ливии, и увяз, как в смоле, в песках, — я думал, что тут мне и конец. Расскажу вам об этом.

VII. В сердце пустыни

1

Приближаясь к Средиземному морю, я повстречался с низкими тучами. Спускаюсь до двадцати метров. Дождевые брызги разбиваются о лобовое стекло, и кажется, что море дымится. Изо всех сил стараюсь различить что-нибудь и не нарваться на мачту корабля.

Мой механик Андрэ Прево то и дело зажигает для меня сигареты.

— Кофе…

Он исчезает в хвосте самолета и возвращается с термосом. Я пью. Время от времени регулирую щелчком рычажок газа, чтобы удерживать режим две тысячи сто оборотов. Скольжу взглядом по циферблатам: мои подданные послушны, каждая стрелка — на своем месте. Смотрю на море, от которого в дождь, как от таза с горячей водой, подымается пар. На гидроплане я пожалел бы, что море такое «волнистое». Но я на обычном самолете. Волнистое или не волнистое — все равно не сесть. Не знаю почему, это рождает у меня нелепое чувство безопасности. Море — часть

мира, чуждого мне. Авария здесь? — это ко мне не относится, не может даже мне угрожать: я не оснащен для моря.

После полутора часов полета дождь стихает. Тучи по-прежнему низки, но свет уже проникает сквозь них, как улыбка. Я любуюсь этими неторопливыми приготовлениями к хорошей погоде. Догадываюсь, что над моей головой лишь тонкий слой белой ваты. Отклоняюсь, чтобы избежать очередного ливня: уже можно его обогнуть. А вот и первый просвет в облаках…

Еще не видя его, я угадываю, что он существует, так как замечаю перед собой на море длинную дорожку травянистого цвета, как бы отливающий густой зеленью оазис, напоминающий поля ячменя, от вида которых у меня так сладко щемило сердце, когда на обратном пути из Сенегала, после трехтысячекилометрового перелета над песками, я достигал Южного Марокко. Здесь тоже у меня ощущение, будто я приближаюсь к населенному району. Настроение приподнятое. Оборачиваюсь к Прево:

— Кончено, все хорошо!

— Да, хорошо…

Тунис. Пока баки наполняют бензином, подписываю документы. Но, выходя из канцелярии, я

слышу странный звук — «хлюп» — точно что-то падает в воду, — глухо, отрывисто. Мне тотчас же вспоминается, что однажды я уже слышал такой звук: взрыв в гараже. Два человека погибли от этого хриплого кашля. Оборачиваюсь к дороге, бегущей вдоль аэродрома: клубится пыль, две быстроходные машины столкнулись и замерли, точно в лед вмерзли. К ним бегут люди, другие бегут сюда:

— Позвоните… Доктора… Голова…

У меня сжимается сердце. В тиши вечерних сумерек злой рок совершил вылазку: чья-то красота, разум или жизнь разрушены… Так подкрадываются в пустыне пираты, и никто не слышит их упругих шагов по песку. Вот пронесся по поселку недолгий шум набега. И снова все погрузилось в золотистое безмолвие. Снова тот же покой, та же тишина… Возле меня кто-то говорит о проломе черепа. Не хочу ничего знать об этом безжизненном, окровавленном лбе; поворачиваюсь спиной к дороге и иду к самолету. Но на сердце остается ощущение угрозы. И этот только что услышанный звук вскоре снова раздастся в моих ушах. Когда на скорости в двести семьдесят километров в час я зацеплюсь за черное плоскогорье, я узнаю этот хриплый кашель, это «ух!»

злого рока, поджидавшего нас в пути.

Вперед, курс на Бенгази!

2

Вперед. До сумерек остается еще два часа. Приближаюсь к Триполитании. Могу сиять дымчатые очки. А песок золотится. Боже, как эта планета пустынна! В который раз думаю о том, что реки, сень деревьев, жилища людей, быть может, обязаны своим существованием лишь стечению счастливых обстоятельств. Какая огромная часть планеты занята скалами и песками!

Но все это далеко от меня; я поглощен полетом. Опускается ночь, — и такое чувство, как будто ты отрезан от мира стенами храма. Отрезан тайной свершения обязательных обрядов, раздумьями, в которых никто не придет тебе на помощь. Весь суетный мир уже погружается в сумрак и скоро исчезнет. Пейзаж освещен еще бледным светом, но уже появилась сумеречная дымка. Не знаю ничего, повторяю, — не знаю ничего лучше этого часа. Тот, кто испытал необъяснимое упоение полетом, поймет меня.

Мало-помалу расстаюсь с солнцем. Расстаюсь с большими золотистыми пятнами, которые оказали бы мне приют в случае аварии… Расста-

юсь с ориентирами. Расстаюсь с силуэтом гор на фоне неба, который помог бы мне избежать неприятностей. Погружаюсь в ночь. Веду самолет вслепую и жду помощи только от звезд…

Земной мир умирает медленно. Мало-помалу мне не хватает света. Земля и небо постепенно сливаются. Земля растет и как бы ширится, словно облако пара. Первые звезды дрожат, точно в изумрудной воде. Придется немало еще подождать, прежде чем они превратятся в твердые алмазы. Придется немало еще подождать, чтобы присутствовать при безмолвных играх падающих звезд. Порой, ночами, передо мной мелькало столько огненных язычков, что мне казалось — ветер бушует среди звезд.

Прево пробует зажечь бортовые и запасные лампы. Мы оборачиваем лампы красной бумагой.

— Еще слой…

Он добавляет еще слой. Включает. Свет все еще слишком ярок. Он смазывает, как на засвеченной фотографии, и так уже поблекшую картину внешнего мира, уничтожает еще слегка видные в сумраке выпуклости предметов.

Наступила ночь. Но это еще не настоящая жизнь. В небе все еще виднеется полумесяц.

Прево уходит в глубь самолета и возвращается с бутербродом. Пощипываю виноградную кисть. Я не голоден. Не хочу ни есть, ни пить. Не чувствую никакой усталости. Кажется, летел бы и летел десятки лет.

Луна скрылась.

Из мрака ночи дает о себе знать Бенгази. Бенгази погружен в такую кромешную тьму, что сквозь нее не пробивается ни один огонек. Я замечаю город только тогда, когда нахожусь над ним. Ищу аэродром, как вдруг зажигаются красные огни посадочной площадки. Огни выкраивают во тьме черный прямоугольник. Делаю круг. Луч нацеленного в небо прожектора подымается ввысь, как зарево пожара, поворачивает и прокладывает на площадке золотистую дорожку. Делаю еще круг, чтобы хорошенько присмотреться ко всем препятствиям. Аэродром этот прекрасно оснащен для ночной посадки. Сбавляю газ и ныряю, как в черную воду.

Приземляюсь в двадцать три часа по местному времени. Выруливаю к прожектору. Чрезвычайно приветливые офицеры и солдаты то появляются в его резком свете, то снова исчезают во мраке. Предъявляю бумаги, начинается заправка. Двадцать минут, — и все закончено.

— Сделайте над нами круг, мы будем знать, что все в порядке!

Вперед.

Выруливаю на золотистую дорожку. Передо мной никаких препятствий. Несмотря на дополнительную нагрузку, мой самолет типа «Симун» легко отделяется от земли — задолго до границ взлетной дорожки. Прожектор не выпускает нас из своих лучей, и это стесняет меня при развороте. Наконец, отпустил, — на земле догадались, что он нас ослепляет. Делаю бочку, свет прожектора снова ударяет в лицо, но его сразу же отводят и направляют длинный золотистый сноп лучей куда-то вдаль. Чувствую в этом предупредительность и необыкновенную учтивость. Делаю круг и беру курс на пустыню.

Метеорологические данные, сообщенные мне Парижем, Тунисом и Бенгази, обещают попутный ветер скоростью от тридцати до сорока километров в час. Я рассчитываю на скорость полета в триста километров в час. Беру курс вправо на середину сектора, соединяющего Александрию и Каир. Таким образом, я избегну запретной прибрежной зоны и, несмотря на пока не известный мне снос, так или иначе, слева или справа, увижу огни одного из этих городов или, во всяком

случае, огни долины Нила. Если ветер не переменится, путь продолжится три часа двадцать минут. Если ветер ослабнет — три часа сорок пять минут. Начинаю поглощать тысячу пятьдесят километров пустыни.

Нет больше луны. Черная смола растеклась до самых звезд. Впереди на всем пути — ни одного огня, никаких ориентиров, которые могли бы мне помочь; так как радио на борту нет, я не смогу получать от людей никаких сигналов до самого Нила. Не пытаюсь даже наблюдать за чем-нибудь, кроме компаса и альтиметра Сперри. Сосредоточиваю внимание на подрагиваниях узкой полоски радия на темном циферблате прибора. Когда Прево расхаживает по самолету, осторожно выправляю колебания указателя. Подымаюсь на высоту в две тысячи метров, где, по предсказаниям, ветер будет благоприятствовать мне. Время от времени зажигаю лампу, чтобы осветить циферблаты, указывающие режим моторов, — только некоторые из приборов светятся. Но большую часть времени провожу в темноте, среди своих маленьких созвездий, которые распространяют тот же неиссякаемый и таинственный минеральный свет, что и настоящие звезды, и говорят на том же языке. Как астрономы, я читаю в книге

небесной механики. Как и они, я прилежен и отрешен от земных забот. Во внешнем мире все угасло. Прево долго противится сну, но все же засыпает, и я еще сильнее ощущаю свое одиночество. Только нежно ворчит мотор, да прямо передо мной на приборной доске спокойно мерцают звезды.

Тем временем я обдумываю положение. Нам не поможет луна, и мы лишены радио. Пока мы не уткнемся в полосу нильских огней, мы лишены какой-либо, хотя бы и самой малой, связи с миром. Мы от всего оторваны, один только мотор держит нас и не дает нам утонуть в этой смоле. Мы пересекаем черную долину сказок, долину испытаний. Здесь неоткуда ждать помощи. Здесь не прощают ошибок. Наша жизнь — в руках божьих.

Сквозь прокладку распределителя тока пробивается полоска света. Бужу Прево, чтобы он устранил ее. Прево ворочается во тьме, как медведь, стряхивает сон, подходит, приступает к каким-то сложным манипуляциям с платком и черной бумагой. Полоска света исчезла. Она как бы разламывала мир. Свет этот не был того же качества, что бледное и как бы отдаленное мерцание радия. Это был свет ночного притона,

а не мерцание звезд. И, самое главное, он слепил меня, гасил другие огни.

Полет длится уже три часа. Какое-то, как мне кажется, очень яркое пятно маячит вдруг справа. Всматриваюсь. Длинный светящийся след тянется за позиционным огнем на конце крыла. До сих пор огонь не был мне виден. Прерывистый отблеск то становится ярче, то меркнет — я вхожу в тучу. Это она отражает свет фонаря. Поблизости от своих ориентиров я предпочел бы чистое от туч небо. Крыло озарено отраженным сиянием. Светлое пятно ложится на крыло, закрепляется, лучится и как бы образует розовый букет. Сильные воздушные течения нарушают равновесие самолета. Я попал в скопление облаков, толщина которого мне неизвестна. Подымаюсь на две тысячи пятьсот метров и все же не могу выбраться из облаков. Спускаюсь до тысячи метров. Букет все на том же месте — неподвижный и еще более яркий. Ладно. Сойдет. Черт с ним. Думаю о другом. Поживем— увидим. Но мне не нравится этот кабацкий свет.

Прикидываю: «Самолет немного танцует здесь — и это нормально, но и на всем пути, несмотря на ясное небо и большую высоту, действие воздушных течений не прекращалось. Ветер не

утих, а, следовательно, я должен был превысить скорость в триста километров в час». В общем, ничего толком не знаю, попытаюсь определиться, когда выйду из туч.

Вот и конец им. Букет внезапно погас. Узнаю, собственно, о выходе из туч по его исчезновению. Смотрю вперед и, насколько можно видеть в темноте, замечаю узкую полосу чистого неба и надвигающуюся стену нового скопления туч. Букет снова ожил.

Лишь иногда на несколько секунд выбираюсь из этой трясины. После трех с половиной часов полета она начинает раздражать меня, ибо, если мои расчеты правильны, я приближаюсь к Нилу. При известной удаче, может быть, замечу его в разрыве туч. Правда, они весьма редки. Не решаюсь еще снизиться: если, паче чаяния, я лечу медленнее, чем предполагал, то подо мной пока возвышенности.

Все еще не тревожусь, боюсь лишь зря потерять время. Но я определяю границу своему спокойствию — четыре часа пятнадцать минут полета. По истечении этого времени даже при безветрии — а безветрие мало вероятно — долина Нила останется позади.

С приближением к бахроме туч букет все чаще

и чаще вспыхивает, потом внезапно совсем пропадает. Не нравится мне эта шифрованная связь с демонами ночи.

Светясь, как маяк, предо мной всплывает зеленая звезда. Звезда это или маяк? Не нравится мне и этот сверхъестественный свет, эта звезда волхвов, это опасное приглашение.

Прево проснулся и освещает циферблаты мотора. Гоню его прочь, с его лампой. Приближаюсь к просвету и пользуюсь этим, чтобы кинуть взгляд вниз. Прево снова засыпает.

Да и глядеть-то не на что.

Полет длится уже четыре часа пять минут. Прево подсаживается ко мне:

— Должны бы уже быть в Каире…

— Еще бы…

— Что это: звезда или маяк?

Я слегка сбавил газ, должно быть это-то и разбудило Прево. Он очень чувствителен ко всякому изменению шума в полете. Начинаю медленно снижаться, чтобы выскользнуть из туч.

Сверяюсь с картой. Так или иначе, мы добрались до мест, высота которых обозначена цифрой 0, я ничем не рискую. Продолжаю снижаться и поворачиваю на север. Таким образом, огни городов ударят мне прямо в окна самолета. По всей

вероятности, я их уже проскочил, и теперь они должны показаться слева. Лечу под скоплением туч. Но слева от меня какая-то туча спустилась значительно ниже. Поворачиваю, чтобы не дать ей втянуть меня, ложусь на курс северо-восток.

Но туча упрямо спускается и закрывает горизонт. Не решаюсь больше уменьшать высоту. Мой альтиметр, правда, показывает четыреста метров, но неизвестно, какое здесь давление. Прево наклоняется ко мне. Кричу ему: «Дотяну до моря и закончу там спуск, чтобы не налететь на что-нибудь!»

Впрочем, кто знает, не снесло ли нас и так в море. Мрак под тучами непроницаем. Прижимаюсь к стеклу кабины. Пытаюсь различить что-нибудь внизу. Пытаюсь обнаружить огни, какие-нибудь ориентиры. Уподобляюсь человеку, роющемуся в золе, человеку, который пытается найти в глубине очага тлеющие угольки жизни.

— Морской маяк!

Мы одновременно заметили эту мигающую ловушку! Что за безумие! Где он, этот маяк-призрак, этот ночной обман? В то самое мгновение, когда мы с Прево высунулись, чтобы разыскать его в трехстах метрах под нашими крыльями, внезапно…

— Ай!

Кажется, только это я и сказал. Кажется, не ощутил ничего, кроме чудовищного треска, потрясшего до основания наш мир. На скорости в двести семьдесят километров в час мы врезались в землю.

Затем сотую долю секунды я, кажется, не ждал ничего, кроме огромной алой звезды взрыва, который должен был поглотить нас обоих. Ни Прево, ни я не чувствовали ни малейшего волнения. Я приметил в себе лишь беспредельное ожидание, ожидание яркой вспышки, в которой мы должны были раствориться в ту же секунду. Но алая звезда не вспыхивала. За ударом последовало как бы землетрясение, разрушившее нашу кабину, вырвавшее окна, отбросившее на сотню метров железные листы фюзеляжа и наполнившее своим ревом все, вплоть до наших внутренностей. Самолет вибрировал, как нож, брошенный издалека и вонзившийся в твердое дерево. Вся эта ярость обрушилась на нас. Секунда, две… Самолет все еще судорожно вздрагивал. Меня охватило чудовищное нетерпение, я все ждал, что накопленные самолетом запасы энергии заставят его взорваться, как гранату. Но подземные толчки продолжались, а извержение

за ними не следовало. Я уже ничего не понимал в этой невидимой внутренней работе. Не понимал ни этих вздрагиваний, ни этой ярости, ни этой бесконечной отсрочки. Пять секунд, шесть… Внезапно мы ощутили, как нас завертело, новый удар выбросил через окна кабины наши сигареты, разнес вдребезги правое крыло, — затем все стихло. Настала ледяная тишина. Я крикнул Прево:

— Живей, прыгайте!

В это же время он крикнул:

— Огонь!

И мы перекатились через вырванные окна кабины.

Мы стояли в двадцати метрах от самолета. Я спросил Прево:

— Все цело?

Он ответил:

— Все цело!

Но потирал колено.

Я сказал:

— Ощупайте себя! Двигайтесь же, побожитесь, что у вас ничего не сломано…

А он отвечал:

— Да это пустяки, запасной насос…

Я ожидал, что он вот-вот грохнется, рассеченный надвое, но он все повторял, не сводя глаз с

самолета:

— Это запасной насос!..

Я подумал: совсем обезумел, сейчас пустится в пляс…

Но, оторвав, наконец, взгляд от пощаженного огнем самолета, он поглядел на меня и повторил:

— Да это пустяки, запасной насос слегка зацепил меня по колену.

3

Совершенно необъяснимо, как мы остались живы. С карманным фонарем в руке я изучаю следы самолета на земле. За двести пятьдесят метров от места его остановки мы уже находим погнутое железо, сорванные листы, которыми усеян весь путь самолета по песку. С наступлением дня становится ясно, что мы почти по касательной врезались в отлогий склон пустынного плоскогорья. В месте столкновения с землей рытвина в песке напоминает борозду, проложенную плугом. Самолет не перевернулся и проделал весь путь на брюхе, дрожа от ярости, извиваясь, как хвост пресмыкающегося. Он полз со скоростью в двести семьдесят километров в час. Мы, видимо, обязаны жизнью черным круглым камням, кото-

рые легко катятся по песку — мы съехали на них, как на катках.

Прево отключает аккумуляторы, чтобы короткое замыкание не вызвало запоздалого пожара. Прислонясь к мотору, погружаюсь в размышления: если предположить, что на высоте ветер дул со скоростью пятидесяти километров в час, а нас и в самом деле качало, то за четыре часа пятнадцать минут… Да, но если, вопреки предсказаниям, ветер переменился? Ведь мне не известно, каково было его направленье… Мы, следовательно, можем находиться в любом месте квадрата стороной в четыреста километров.

Прево подходит, садится рядом со мной и произносит:

— Вот здорово, что мы живы…

Не отвечаю ему. Я никакой радости не чувствую. Мне пришла в голову одна мысль, постепенно она все больше овладевает мной и начинает слегка тревожить.

Я прошу Прево зажечь свой фонарик, чтобы он служил мне ориентиром, и с фонарем в руке удаляюсь от него. Внимательно разглядываю почву. Медленно продвигаюсь вперед, начинаю описывать широкий полукруг, несколько раз меняю направление. Упорно ищу на песке, как

если бы потерял кольцо. Точно так же еще недавно я пытался отыскать тлеющий уголек в ночи. Продолжаю двигаться во тьме, склонясь над светлым пятном, которое бежит впереди меня. Так и есть… так и есть… Медленно возвращаюсь к самолету. Сажусь около кабины и размышляю. Я искал обнадеживающих признаков — и не нашел. Я искал признаков жизни — а жизнь ничем не дала о себе знать.

— Прево, я не видел ни одной былинки…

Прево молчит, не знаю — понял ли он меня. Мы поговорим об этом, когда подымется занавес, когда наступит день. Чувствую лишь огромную усталость и думаю: «Четыреста километров… в ту или иную сторону… в пустыне!..» Внезапно вскакиваю:

— Вода!

Бензиновые и масляные баки разбиты. Резервуары с водой тоже. Песок все выпил. В смятом термосе мы находим пол-литра кофе; в другом — четверть литра белого вина. Процеживаем и смешиваем эти жидкости. Находим также немного винограда и один апельсин. Но я подсчитываю в уме: «Пять часов пути в пустыне под солнцем — и всем запасам конец…»

Устраиваемся до утра в кабине. Ложусь, буду

спать. Засыпая, подвожу итог: совершенно неизвестно, где мы. У нас нет и литра влаги. Если мы не очень отклонились от прямого пути, то нас найдут дней через восемь, раньше нечего и надеяться, — а это слишком поздно., Если нас снесло в сторону, найдут не раньше чем через шесть месяцев. На самолеты нечего рассчитывать: нас будут разыскивать в радиусе полутора тысяч километров.;

— Эх! Обидно… — говорит Прево.

— Что?

— Лучше было кончить разом…

Но нечего так быстро отказываться от борьбы. Мы берем себя в руки. Нельзя терять надежду — как бы слаба она ни была — на чудесное спасение с воздуха. Нельзя также сидеть на месте, упуская, быть может, случай обнаружить поблизости оазис. Весь день мы будем его искать, а вечером вернемся к самолету. Перед уходом мы напишем наш маршрут на песке огромными буквами.

Я свернулся калачиком и буду спать до рассвета. Меня радует, что я могу заснуть. Усталость погружает меня в сновидения. Я не один в пустыне; в полузабытьи мне слышатся голоса, всплывают воспоминания, я улавливаю доверчивый шепот. Жажда еще не мучает меня, мне хорошо, тянусь

ко сну, как к приключению. Действительность уступает место грезам…

Эх! С наступлением дня все стало иным!

4

Я очень любил Сахару. Не раз проводил я ночи в районе непокорных племен. Я просыпался среди золотистых просторов, где ветер гнал зыбь, как на море. Засыпая под крылом своего самолета, я ждал по-мощи. Но разве это поддается сравнению!..

Мы бредем по склонам крутых холмов. Песчаная почва покрыта слоем блестящих черных камней. Они напоминают металлическую чешую, и все окружающие нас холмы блестят, как панцири. Мы попали в мир минералов. Нас окружает пейзаж из стальной брони.

Переберешься через холм, а за ним уже виднеется такой же блестящий и черный гребень. Мы идем, загребая ногами землю, чтобы оставить за собой путеводную нить, по которой можно будет вернуться. Мы движемся прямо на солнце. Вопреки всякой логике, я решил идти на восток, хотя все — метеорологические данные, время полета — заставляет думать, что мы пересекли Нил. Я сделал было попытку направиться па запад — но

меня охватила необъяснимая тревога. Решил отложить запад на завтра. Мысль о северном направлении, хотя оно и ведет к морю, я пока отбросил. Три дня спустя, когда в полубредовом состоянии мы решим окончательно уйти от самолета и двигаться вперед, пока не свалимся, мы снова направимся на восток. Вернее на восток-северо-восток. И это вопреки всякой логике, вопреки всему, чего мы могли ждать. Находясь уже в безопасности, мы обнаружили, что никакое другое направление не спасло бы нас, так как мы были слишком измотаны, чтобы, идя на север, добраться до моря. Как это ни нелепо, но сейчас мне кажется, что за отсутствием каких-либо данных, которые могли бы повлиять на наше решение, я избрал такое направление лишь потому, что оно спасло моего друга Гийоме в Андах, где я его так упорно разыскивал! Это направление неосознанно стало для меня направлением жизни.

После пяти часов ходьбы ландшафт меняется. В глубине долины как бы течет песчаный поток. Спускаемся в долину; Шагаем быстро: надо уйти как можно дальше и, если ничего не найдем, успеть засветло вернуться. И вдруг я останавливаюсь:

— Прево!

— Что?

— А след…

Как долго мы уже шагаем так, забывая тянуть за собой борозду? Если мы не найдем ее — смерть!

Мы поворачиваем и отклоняемся вправо. Пройдя достаточно далеко, мы повернем перпендикулярно к нашему теперешнему направлению и перережем оставленный нами ранее след.

Связав эту нить, снова пускаемся в путь. Жара усиливается, рождаются миражи. Пока еще самые простые — большие озера, исчезающие при нашем приближении. Мы решаем пересечь песчаную долину и взобраться на самый высокий купол, чтобы осмотреться. Шесть часов, как мы в пути. Таким ходом мы, должно быть, отмахали километров тридцать пять. Взбираемся на вершину черного холма и молча садимся. Под нами песчаный поток впадает в песчаное море, чистое от камней и обжигающее глаза ослепительным белым сиянием. Взгляд теряется в пустынных просторах. Но на горизонте игра света рождает волнующие миражи. Крепости, минареты, геометрические формы с вертикальными линиями. Я замечаю также большое темное пятно, подражающее растительности. Но над ним нависло последнее из тех облаков, которые расходятся

днем и собираются снова к вечеру. Понятно — это лишь тень кучевых облаков.

Незачем идти дальше — путь этот никуда не ведет. Нужно вернуться к самолету, к бело-красному бакену, который, быть может, заметят товарищи. И хотя я возлагаю мало надежд на поиски, все же они представляются мне единственной возможностью спасения. Но главное, мы оставили там последние капли влаги, а нам совершенно необходимо что-нибудь выпить. Надо вернуться, чтобы жить. Вокруг нас сомкнулось железное кольцо, мы пользуемся лишь мимолетной свободой — мы пленники жажды.

Но как трудно повернуть, когда, быть может, идешь навстречу жизни! Там, за миражами, даль полна, быть может, настоящими городами, каналами пресной воды и лугами. Я знаю, что разумнее всего повернуть назад. И все же, когда я решаюсь на этот ужасный поворот руля, у меня такое чувство, будто я иду ко дну.

Мы лежим около самолета. Мы исходили шестьдесят километров и уничтожили наш запас влаги. Мы ничего не обнаружили к востоку от места аварии, и ни один товарищ не пролетел над нами. Как долго мы выдержим? Нам уже так хочется пить…

Мы соорудили большой костер из обломков разбитого крыла, приготовили бензин и листы магнезии, которые горят ярким, белым огнем. Ждем полного наступления темноты, чтобы зажечь костер… Но где же люди?

Пламя вздымается к небу. С упованием взираем мы на языки нашего сигнального огня в пустыне. Мы глядим, как наш лучащийся светом безмолвный сигнал расцветает в ночи. И я думаю о том, что в нем не только отчаянный призыв, а и любовь. Мы просим пить, но мы просим также установить с нами связь. Пусть другой огонь зажжется в ночи. Только люди располагают огнем, пусть же они ответят нам!

Предо мной возникают глаза жены. Я вижу только эти глаза. Они вопрошают. Предо мной возникают глаза всех тех, кому, быть может, я дорог. Эти глаза вопрошают. Целый сонм взглядов упрекает меня за мое молчание. Я отвечаю! Я отвечаю! Я отвечаю изо всех сил. Я не в состоянии сделать ярче этот огонь в ночи!

Я сделал, что мог. Мы сделали все, что могли: шестьдесят километров почти без питья. Теперь мы уже не будем больше пить. Разве это наша вина, что мы не можем долго ждать? Мы бы охотно не двигались отсюда, прикладываясь к

фляжкам. Но с той секунды, когда я выпил до дна содержимое оловянного стаканчика, часы начали отстукивать время. С той секунды, когда я высосал последнюю каплю, я сразу же покатился по наклонной плоскости. Чем я виноват, если время уносит меня, как стремительный поток? Прево плачет. Хлопаю его по плечу и говорю в утешенье:

— Крышка так крышка…

Он отвечает мне:

— Неужели вы думаете, что я о себе плачу?..

О! Конечно, я уже открыл эту истину. Вытерпеть можно все. Завтра и послезавтра я смогу убедиться, что вытерпеть можно решительно все. Я лишь наполовину верю в мучения. Эта мысль приходила мне и раньше. Однажды я думал, что тону, так как не мог выбраться из кабины самолета и при этом не очень-то страдал. Сколько раз я чуть не ломал себе шею, но это отнюдь не производило на меня особого впечатления. И здесь я тоже не испытал отчаяния. Назавтра мне придется узнать об этом вещи еще более удивительные. Хоть я и разжег такой большой костер — видит бог, я не потерял еще надежды самому добраться до людей.

«Неужели вы думаете, что я о себе?..» — Да-да,

вот что нестерпимо. Стоит мне увидеть эти глаза, полные ожидания, как я чувствую словно ожог. Меня внезапно охватывает желание подняться и броситься туда, вперед. Там взывают о помощи, там тонут!

В этом — удивительная перестановка ролей, хотя лично я всегда думал, что иначе и быть не может. И все же окончательно убедил меня в этом Прево. Итак, Прево тоже не испытал этого ужаса перед лицом смерти, о котором нам так прожужжали уши. Но есть все же вещь, которой он не может вынести, да и я тоже.

О! Я согласен заснуть, заснуть на одну ночь или на века… Когда засыпаешь, не чувствуешь никакой разницы во времени. И потом — покой! Но крики, которые раздадутся там, взрывы отчаяния… — не могу вынести этой картины. Не могу, скрестив руки, смотреть, как тонут! Каждая секунда молчания убивает тех, кого я люблю. Ярость закипает во мне: почему я скован цепями, почему не могу прийти на помощь утопающим? Почему огонь не разносит наш крик по всему свету? Потерпите! Мы идем!.. Мы идем!.. Мы спасем вас!

Магнезия сгорела, и наш костер начинает краснеть. Осталась только кучка тлеющих углей. Мы

греемся, склоняясь над ней. Конец нашему световому сигналу. Какой отклик он вызвал в мире? О! Знаю, никакого отклика он не вызвал. Это была мольба, которую никто не мог услышать.

Ладно. Буду спать.

5

На рассвете мы собрали тряпкой с крыла немного росы, смешанной с маслом и краской. Это было тошнотворно, но мы выпили. Лучше, чем ничего, все же смочили губы. После «пиршества» Прево сказал мне:

— К счастью, еще есть револьвер.

Я почувствовал внезапное раздражение и со злостью повернулся к нему. Хуже всего было б сейчас, если б он расчувствовался. Мне совершенно необходимо сознание, что все просто. Просто родиться. И просто расти. И просто умереть от жажды.

Уголком глаза я наблюдаю за Прево, готовый, если понадобится, уязвить его самолюбие, чтобы заставить замолчать. Но Прево говорит со мной без признаков волнения. Он как бы поднимает вопрос о гигиене. Он подходит ко всему этому просто, будто говорит: «Нужно бы вымыть руки». В таком случае не о чем и спорить. Я и сам поду-

мал вчера об этом, заметив кожаную кобуру. Я думал об этом спокойно, без волнения. Волнует только то, что связано с другими людьми. Наше бессилие успокоить тех, за кого мы несем ответственность. А вовсе не револьвер.

Нас все еще не ищут или, точнее, ищут не там. Может быть, в Аравии. Впрочем? нам до следующего дня ни разу не пришлось услышать шума мотора. А к этому времени мы уже покинули наш самолет. И когда вдали пролетел единственный самолет, он не разбудил в нас никаких чувств. Черные точки среди множества черных точек пустыни, мы не могли рассчитывать, что нас заметят. Впоследствии мне приписали размышления о том, как это было мучительно. Неправда, никаких мук я не испытал. Мне казалось, что ищущие нас самолеты находятся где-то в другом мире.

Нужно пятнадцать дней, чтобы обнаружить в пустыне самолет, местоположение которого известно лишь с приближением в три тысячи километров. Нас ищут, вероятно, повсюду — от Триполитании до Ирана. И тем не менее сегодня я еще храню слабую надежду. Другой-то ведь нет. Меняя тактику, я решаю отправиться на разведку один. Если в мое отсутствие кто-нибудь явится к

нам, Прево зажжет костер. Но никто не явится.

Итак, ухожу, не зная даже, найду ли в себе силы вернуться. Мне приходит на память то, что я знаю о Ливийской пустыне. В Сахаре влажность воздуха достигает сорока процентов, а здесь она падает до восемнадцати. И жизнь, как пар, покидает тело. Бедуины, путешественники, офицеры колониальных войск уверяют, что выдержать без влаги можно лишь девятнадцать часов. Спустя двадцать часов глаза наполняются светом, и наступает конец: жажда поражает молниеносно.

Но северо-восточный ветер, этот необычный ветер, который так обманул нас и вопреки всем предвидениям пригвоздил к плоскогорью, — теперь удлиняет нам жизнь. Надолго ли отсрочит он появление в глазах первых бликов.

Итак, ухожу, и такое чувство, будто я пускаюсь на лодке в океан.

И все же благодаря восходу солнца окружающая обстановка кажется менее мрачной. Я иду сначала, заложив руки в брюки, как зевака. Вчера вечером мы поставили несколько силков у каких-то загадочных норок, и во мне проснулся браконьер. Иду сначала осмотреть ловушки: они пусты.

Не придется, видимо, напиться крови. По прав-

де говоря, я на это и не надеялся.

Нельзя сказать, что я разочарован, напротив — меня занимает вопрос: чем же живут звери в этой пустыне? Должно быть, это «фенеки» — лисицы песков, маленькие, большеухие плотоядные, величиной с кролика. Не могу устоять против желания пойти по следу одного из них* Он приводит меня к неширокому потоку песка, на котором четко отпечатываются следы. Любуюсь красивым пальмовым листиком — отпечатком трех пальцев, расположенных веером. Представляю себе, как на заре плутишка трусил здесь мелкой рысцой, слизывая росу с камней. Промежутки между следами вдруг увеличиваются: мой фенек бросился бежать. А вот здесь он повстречал родича, и они бок о бок продолжали путь. Со странным удовольствием я слежу за этой утренней прогулкой. Признаки жизни радуют меня. И я немного забываю о своей жажде…

Но вот, наконец, подхожу к продовольственным кладовым моих лисиц. Они чуть возвышаются здесь над уровнем песка каждые сто метров. Это крохотные сухие кустики величиной с суповую миску, увешанные золотистыми улитками. На заре фенек отправляется за продуктами. И я сталкиваюсь с одной из великих тайн природы.

Мой фенек останавливается не у каждого кустика. Он пренебрегает некоторыми из них, хотя они и увешаны улитками. Некоторые кустики он обходит с явной опаской. К другим приближается, но не опустошает их: возьмет две-три ракушки — и переходит в другой ресторан.

Что он — играет с голодом? Не хочет разом утолить его, чтобы продлить удовольствие от своей утренней прогулки? Не думаю. Слишком уж его игра соответствует необходимости. Если бы фенек утолял голод у первого же кустика, он бы в два-три приема очистил его от живого груза. И так — от кустика к кустику — он полностью уничтожил бы свой питомник. Однако фенек избегает всего, что мешает размножению. Он не только черпает еду для каждой трапезы со ста коричневых кустиков, но даже никогда не снимает сразу двух улиток, сидящих рядом на одной веточке. Все происходит так, как если бы он отдавал себе отчет в том, чем рискует. Ведь стоило бы ему насытиться, не принимая никаких предосторожностей, и улиток бы не стало. А не стало бы улиток — не стало бы и фенеков.

Возвращаюсь по следу к норе. Фенек теперь у себя и, должно быть, с ужасом прислушивается к звуку моих шагов. И я говорю ему: «Крышка

мне, лисонька. Но — вот ведь как странно! — это не помешало мне заинтересоваться твоим поведением…»

Меня охватывает раздумье, и мне начинает казаться, что приспособиться можно ко всему. Ведь мысль о том, что он умрет лет через тридцать, не омрачает счастья человека. Тридцать лет или три дня… — это лишь вопрос перспективы.

Но лучше не рисовать себе некоторые картины…

Продолжаю путь, что-то во мне изменилось — усталость берет свое. Хотя миражей и нет, но я их выдумываю…

— Э-эй!

Кричу, подняв руки, но человек, который как будто жестикулировал там, впереди, оказывается черной скалой. Все словно ожило в пустыне. Хотел было разбудить спящего бедуина, а он превратился в почерневший древесный ствол. Древесный ствол? Его присутствие здесь необъяснимо; я наклоняюсь. Хочу приподнять сломанную ветку — она из мрамора! Выпрямляюсь и озираюсь кругом; замечаю везде черный мрамор. Земля вокруг покрыта поломанными стволами допотопного леса. Лес этот был сокрушен сотни тысяч лет тому назад первозданным

ураганом, он рухнул, как храм. Века докатили до меня эти куски гигантских колонн цвета чернил, отполированных, как сталь, окаменелых, остекленевших. Я различаю еще места, от которых отходили ветви, вижу еще судороги жизни и могу сосчитать кольца ствола. Лес этот, когда-то полный щебета птиц, был поражен проклятием и превращен в соль. Я чувствую, что ландшафт этот мне враждебен. Эти величественные останки, более черные, чем железные доспехи холмов, не приемлют меня. Кому нужен я, живой человек, среди этого нестареющего мрамора? Кому нужен я — смертный, чье тело рассыплется в прах? Кому нужен я среди этих примет вечности?

Со вчерашнего дня я прошел уже около восьмидесяти километров. Должно быть, это от жажды у меня такое головокружение. Или от солнца. Оно горит на этих стволах, словно покрытых глазурью. Оно горит на этом панцире вселенной. И нет здесь больше ни песков, ни лисиц. Одна гигантская наковальня. Бреду по этой наковальне и чувствую, как по голове ударяет солнце. Вон там…

— Э-эй! Э-эй!

— Там ничего нет; не волнуйся — это бред.

Разговариваю так сам с собой, взываю к своему

здравому смыслу. Так трудно не доверять глазам. Так трудно не побежать за караваном, который идет там… вот там… видишь?!.

— Глупец, ты прекрасно знаешь, что сам его выдумал…

— Значит, на свете нет ничего реального.

Ничто так не реально, как этот крест, в двадцати километрах от меня, там, на холме! Крест или маяк…

Но ведь море не в том направлении. Стало быть, это крест. Всю ночь я изучал карту. Бесполезная работа, ибо я не знал, где нахожусь. И все же я внимательно вглядывался во все отметки, которые говорили о присутствии человека. В одном месте я обнаружил маленький кружок и над ним такой же вот крест. Я заглянул в указатель и прочел: «Религиозное учреждение». Рядом с крестом я заметил черную точку. Заглянул еще раз в указатель и прочел: «Постоянный колодец». Сердце так и заколотилось, и я снова прочел уже вслух: постоянный колодец… Постоянный… Постоянный… Чего стоит Али-Баба с его несметными сокровищами перед постоянным колодцем? Немного пониже я заметил два белых кружка и прочел в указателе: «Колодец, действующий временами». Это было уже не так блестяще. А кругом не было

ничего. Ничего.

Вот оно, это религиозное учреждение! Монахи поставили на холме большой крест, чтобы указывать путь терпящим бедствие! Остается лишь идти на него. Остается лишь добежать до этих доминиканцев…

— Да ведь в Ливии существуют лишь коптские монастыри.

— …до этих прилежных доминиканцев. У них прекрасная, выложенная красными плитками прохладная кухня, а во дворе — замечательный ржавый водяной насос. А под ржавым насосом, под ржавым насосом — никогда б вы не догадались… — под ржавым насосом находится постоянный колодец! Ох! И будет же у них праздник, когда я позвоню у дверей, когда дерну за колокольчик…

— Глупец, ты описываешь один дом в Провансе, где, впрочем, нет никакого колокольчика!

— …И когда я дерну за колокольчик, привратник вскинет руки к небу и крикнет: «Вы посланец Всевышнего!»? — и он созовет всех монахов. И они бросятся ко мне и восторженно примут меня, будто я бедное дитя. И они поведут меня на кухню и скажут: «Минутку, минутку, сын мой… мы сбегаем к постоянному колодцу…»

А я буду дрожать от счастья…

Но нет, не стану плакать из-за того только, что крест на холме исчез.

Обещания запада — сплошная ложь. Поворачиваю прямо на север.

Север по крайней мере полон песней моря. Теперь, когда эта вершина позади, я вижу, что горизонт расширяется. А вот и самый прекрасный город в мире!

— Ты прекрасно знаешь, что это мираж…

Да, я прекрасно знаю, что это мираж. Меня не обманешь. Но если мне хочется поддаться этому миражу? Если мне хочется надеяться? Если мне хочется любить этот город с зубчатыми стенами, весь расцвеченный солнцем? Если мне хочется идти прямо к нему упругим шагом, хочется — оттого что я не чувствую больше усталости, оттого что я счастлив… Прево с его револьвером, вот смешно-то! Я предпочитаю мое опьянение. Я пьян. Я умираю от жажды!

Сумерки отрезвили меня. Внезапно останавливаюсь, испуганный тем, что так далеко ушел. В сумерках мираж тает. Горизонт скинул все свое великолепие, свои дворцы, свои ризы. Это — горизонт пустыни.

— Ну, и чего ж ты добился?! Ночь схватит тебя,

тебе придется ждать рассвета, а к завтрашнему дню следы твои сотрутся — и будет неизвестно, где ты.

— В таком случае лучше уж идти прямо… Зачем же снова поворачивать назад? Не хочу больше поворачивать руль в момент, когда, быть может, я бы открыл… я открывал уже объятия морю…

— Где же ты видел море? Тебе никогда до него не добраться. Километров триста наверняка отделяют тебя от него. А Прево ждет у «Симуна»! И его, быть может, заметил какой-нибудь караван…

Да, я вернусь, но сначала покричу людям:

— Э-эй!

Ведь планета эта, черт возьми, все же обитаема!..

— Э-эй! Люди!..

Я охрип. Не хватает голоса. Чувствую, что смешон, когда так кричу… И все же принимаюсь снова:

— Лю-ди!

Это звучит напыщенно и претенциозно.

Поворачиваю назад.

После двух часов ходьбы я вижу рвущиеся в небо языки пламени. Это сигнал Прево, обеспокоенного, что я могу потеряться. О! Мне все это так безразлично…

Еще час ходьбы. Еще пятьсот метров. Еще сто. Еще пятьдесят…

— А-а!

Останавливаюсь, как громом пораженный. Радость бурным потоком приливает к сердцу и грозит разорвать его. Освещенный заревом костра, Прево беседует с двумя арабами, прислонившимися к мотору. Он еще не заметил меня. Он весь поглощен собственной радостью. Эх! Останься я ждать, как он… уже бы не мучился! Радостно кричу:

— Э-эй!

Оба бедуина вскакивают и смотрят на меня. Прево отходит от них и один идет мне навстречу. Открываю объятия. Прево подхватывает меня под локоть. Падал я, что ли? Говорю ему:

— Наконец-то!

— О чем это вы?

— Арабы!

— Какие арабы?

— Арабы, которые здесь с вами!..

Прево смотрит на меня как-то странно и говорит, точно делится со мной, против воли, нерадостным секретом:

— Нет вовсе никаких арабов…

Должно быть, на этот раз-я все же заплачу.

6

Здесь можно прожить лишь девятнадцать часов без воды. А что мы пили со вчерашнего вечера? Несколько капель утренней росы! Но северо-восточный ветер господствует по-прежнему и немного замедляет испарение влаги из наших тел. Эта завеса способствует образованию туч высоко в небе. О! Если бы они спустились к нам, если бы пошел дождь! Но в пустыне никогда не идут дожди.

— Прево! Разрежем на треугольники парашют и укрепим эти полосы на земле камнями. Поутру, если ветер не изменится, мы выжмем полотнища в бензиновый бак и соберем росу.

Мы разложили под звездами шесть белых полотнищ. Прево отодрал от самолета бак. Остается лишь дождаться рассвета.

Прево чудом отыскал среди обломков апельсин. Делим его. Я потрясен, а между тем ведь это так мало: один апельсин, когда нам нужно литров двадцать воды!

Лежа у нашего ночного костра, я смотрю на лучезарный плод и говорю себе: «Люди не понимают, что такое апельсин...» И еще: «Мы обречены, — но снова уверенность в этом не лишает

меня способности радоваться. Половинка апельсина, которую я сжимаю в руке, доставляет мне одно из самых больших наслаждений жизни...» Ложусь на спину, сосу фрукт и считаю падающие звезды. И вот, на минуту, я бесконечно счастлив. И думаю: «Не догадаешься, каковы законы мира, в котором мы живем, пока сам с чем-нибудь не столкнешься. Только сегодня я понял, что значит для осужденного на казнь сигарета и стакан рома. Раньше я не понимал, как может он принимать это жалкое подаяние. А между тем он находит в нем большое удовольствие. Если он при этом улыбается, думают — мужественный человек. Но он улыбается оттого, что пьет ром. Люди не знают, что у него изменился угол зрения и что из этого последнего часа он создал целую человеческую жизнь».

Мы собрали огромное количество воды, литра два. Конец жажде! Мы спасены, мы будем пить!

Зачерпываю из бака воду оловянным стаканчиком. Она великолепного желто-зеленого цвета и с первого же глотка так отвратительна на вкус, что, несмотря на мучащую меня жажду, я не в силах выпить ее залпом и перевожу дух, прежде чем допить свой стаканчик. Я пил бы даже грязь, но этот привкус отравленного металла пересили-

вает мою жажду.

Смотрю на Прево, который ходит по кругу, уставясь в землю, словно внимательно ищет что-то. Внезапно, не переставая кружить, он наклоняется, и его начинает рвать. Через полминуты — моя очередь. У меня такая рвота, что я падаю на колени, хватая пальцами песок. Мы не разговариваем. В течение пятнадцати минут нас мучают непрерывные схватки и рвет желчью.

Все. Осталась только легкая тошнота. Но мы лишились нашей последней надежды. Не знаю, потерпели мы неудачу из-за какого-то состава, которым был пропитан парашют, или из-за четыреххлористого углерода, осевшего на стенках бака. Надо было бы иметь другой сосуд и другое полотнище.

Что ж, поспешим! Уже светло. В путь! Уйдем с этого проклятого плоскогорья и будем шагать, все вперед и вперед, пока не упадем. Следую примеру Гийоме в Андах; со вчерашнего дня я много думаю о нем. Своим уходом я нарушаю инструкцию, обязывающую нас оставаться подле обломков самолета. Нас уже не будут искать здесь.

Еще раз обнаруживаем, что не мы потерпели кораблекрушение. Потерпевшие кораблекрушение это те, кто нас ждет! Те, кому угрожает наше

молчание. Те, у кого разрывается сердце из-за ужасной ошибки. Нельзя не торопиться к ним. По возвращении из Анд Гийоме тоже рассказывал мне, как он торопился на помощь потерпевшим кораблекрушение! Это всеобщая истина.

— Будь я один на свете, — говорит Прево, — я бы лег и не двигался.

И мы идем прямо на восток-северо-восток. Если мы перелетели Нил, то каждый шаг уводит нас все дальше в глубь Аравийской пустыни.

Воспоминания об этом дне не сохранились в моей памяти. Помню лишь, что торопился. К чему угодно, хоть — к смерти. Вспоминаю, что я шел, опустив глаза к земле, — мне опротивели миражи. Время от времени мы выправляли свой путь по компасу. Иногда ложились, чтобы немного передохнуть. Я где-то бросил плащ, который берег на ночь. Дальше в моей памяти пробел. Я могу связно вспомнить лишь то, что было с момента наступления вечерней прохлады. Все, что было до того, стерлось, как след на песке.

С заходом солнца мы решаемся сделать привал., Я хорошо знаю, что нам следовало бы продолжать путь: эта ночь без воды доконает нас. Но мы захватили с собой полосы парашютного полотнища. Если яд не в составе, которым оно пропитано,

быть может завтра утром мы сможем напиться. Нужно еще раз разложить под звездами наши ловушки для влаги.

Но сегодня вечером небо на севере совершенно свободно от туч. Вкус ветра изменился. Изменилось и его направление. Горячее дыхание пустыни уже коснулось нас. Хищник пробуждается! Я чувствую, как он уже лижет нам руки и лица…

Однако я не в силах пройти и десяти километров. За три дня, без воды, я прошел больше ста восьмидесяти…

Но вот в момент, когда мы готовимся сделать привал, Прево вдруг говорит:

— Ей-богу, озеро!

— С ума сошли!

— Разве может быть мираж в этот час, в сумерках?

Не отвечаю. Я, давно уже отказался верить своим глазам. Может быть, это и не мираж, но тогда это плод нашего безумия. Как Прево может еще верить?

Прево упорствует:

— Это в двадцати минутах хода! Пойду посмотрю…

Его упрямство бесит меня:

— Идите посмотрите, прогуляйтесь… Это весьма полезно для здоровья. Но если оно и существует, ваше озеро, поймите — оно все равно соленое. Впрочем, соленое или не соленое — оно у черта на куличках! И вообще его нет.

Перво уже удаляется, не отводя глаз от своей цели. Мне известна неодолимая сила этого притяжения! И я думаю: «Бывают лунатики, которые вот так же бросаются прямо под поезд». Я знаю, что Прево не вернется. Головокружение от бескрайности овладеет им, и он уже не сможет повернуть назад. И упадет немного дальше. И мы умрем каждый на своей стороне. И все это не имеет никакого значения!..

Это мое безразличие — не очень-то хороший признак. Однажды, когда я почти уже тонул, я испытал чувство такой же умиротворенности. И все же пользуюсь сейчас случаем, чтобы, растянувшись на камнях, составить свое посмертное послание. Очень красивое письмо. Весьма достойное. Изобилующее мудрыми советами. Перечитывая его, испытываю смутную радость удовлетворенного тщеславия. О нем скажут: «Какое замечательное посмертное письмо! Как жаль, что он умер!»

Хотелось бы все-таки знать, сколько мне оста-

лось жить. Пытаюсь набрать слюну: как долго я уже не сплевывал? Нет у меня больше слюны. Когда я закрываю рот, губы склеивает какая-то слизь. Она засыхает и образует снаружи твердую кромку. Однако попытки глотать пока удаются. Глаза мои еще не наполняются светом. Когда предо мной встанет это лучистое сияние, это прекрасное зрелище — останется жить два часа.

Темно. С прошлой ночи луна увеличилась. Прево не возвращается. Лежу на спине и обстоятельно обдумываю эти очевидные истины. Во мне оживает какое-то давнее ощущение. Пытаюсь ухватить его. Я нахожусь… Я нахожусь… Я на корабле! Я отправился в Южную Америку и лежу на верхней палубе. Конец мачты медленно качается между звезд из стороны в сторону. Мачты здесь нет, но я все же плыву к какой-то цели, не прилагая никаких усилий. Работорговцы связали меня, швырнули на корабль.

Я думаю о Прево, который не возвращается. Он ни разу не пожаловался на свою судьбу. Это очень хорошо. Я бы не вынес нытья. Прево — настоящий человек.

Аа! Вот он в пятистах метрах от меня размахивает своим фонарем! Он потерял свой след! У меня нет фонаря, чтобы ответить ему; встаю,

кричу, но он не слышит…

Второй, третий фонарик зажигаются в двухстах метрах от первого. Боже правый, это же розыски, меня ищут!

Я кричу:

— Э-эй!

Но меня не слышат.

Три фонаря продолжают призывно сигналить.

Я не сошел с ума. Я хорошо себя чувствую. Я спокоен. Внимательно всматриваюсь — в пятистах метрах светятся три фонаря.

— Э-эй!

Но меня все еще не слышат.

Ненадолго меня охватывает паника. Единственный раз за все время. Аа! Я еще в состоянии бежать. «Подождите!.. Подождите!..» Они повернут назад! Они удалятся, пойдут искать в другом месте, а я упаду! Упаду на пороге жизни, когда уже раскрыты объятия, чтобы подхватить меня!

— Э-эй! Э-эй!

— Э-эй!

Они услышали меня. Задыхаюсь, задыхаюсь, но еще бегу. Бегу в направлении голосов: «Э-эй!» Замечаю Прево и падаю.

— О! Когда я заметил все эти фонари!..

— Какие фонари?

И верно, он один.

На этот раз я чувствую не разочарование, а — глухую злобу.

— А ваше озеро?

— По мере того как я шел, оно все удалялось. Я шел к нему полчаса. Оно было все еще слишком далеко, и я повернул назад. Но теперь я уверен, что это озеро…

— Вы обезумели, совершенно обезумели! Ах! Зачем вы это сделали?.. Зачем?

Что он сделал? Зачем сделал? Я, кажется, заплакал бы от возмущения, хотя не знаю, что меня возмущает. А Прево объясняет мне прерывающимся голосом:

— Я так хотел найти воду… У вас совершенно белые губы!

Эх! Злость моя утихает… Как бы просыпаясь, я провожу рукой по лбу, и мне становится грустно. Говорю с трудом:

— Я видел — так же ясно, безошибочно, как сейчас вижу вас, — три огонька… Говорю вам, я видел их, Прево!

Прево сначала молчит.

— Да, — наконец, признает он, — плохо дело.

В этой атмосфере, лишенной водяных паров, земля очень быстро отдает тепло. Стало холодно.

Встаю и начинаю ходить. Но очень скоро мной овладевает невыносимая дрожь. Моя обезвоженная кровь с трудом течет в жилах, и ледяной холод — не только холод ночи — пронизывает меня. Зубы стучат, и все тело содрогается. Рука так дрожит, что не могу больше пользоваться фонариком. Я никогда не был чувствителен к холоду и вот умру от холода. Как странно действует жажда!

Я где-то бросил мой плащ, устав тащить его по жаре. А ветер все крепчает. И я открываю, что в пустыне негде укрыться. Пустыня гладка, как мраморная плита. Днем в ней не сыщешь тени, а ночью она отдает вас, неприкрытого, ветру. Ни деревца, ни кустика, ни камня, за который можно было бы укрыться. Ветер атакует меня, как кавалерия в открытом поле. Верчусь во все стороны, чтобы уклониться от него. То ложусь, то подымаюсь. Стою ли, лежу ли — ледяной бич хлещет меня. Не могу бежать, нет больше сил. Не могу бежать от убийц, падаю на колени и, прикрыв руками голову, подставляю ее под меч!

Немного погодя отдаю себе отчет в том, что я встал и, продолжая трястись от холода, иду куда глаза глядят. Где я? Ах! Я ушел и слышу теперь голос Прево. Это его призывы заставили меня

очнуться…

Все еще дрожа всем телом, содрогаясь от икоты, я возвращаюсь к нему. И говорю себе: «Это не холод. Это что-то другое. Это конец». Мой организм уже слишком обезвожен. Я столько ходил позавчера и вчера, когда вышел один.

Обидно умереть от холода. Я предпочел бы возникавшие во мне миражи. Крест на холме, арабы, фонарики. Это во всяком случае становилось интересным. Не терплю, чтобы меня бичевали, как раба…

Снова падаю на колени.

Мы захватили с собой часть нашей аптечки. Сто граммов чистого эфира, сто граммов девяностоградусного спирта и пузырек иода. Пробую сделать два-три глотка чистого эфира. Впечатление, будто бы я глотаю ножи. Ну, а девяностоградусный спирт? Но от него стягивает горло.

Разрываю песок, ложусь в яму и засыпаю себя. Только лицо высовывается наружу. Прево нашел несколько хворостинок и разжигает костер, который скоро затухнет. Прево не хочет зарыться в песок. Он предпочитает топтаться с ноги на ногу. Зря.

Горло не разжимается — плохой признак. А

между тем я чувствую себя лучше. Я спокоен. Против всякого ожидания, я спокоен. На палубе невольничьего корабля, связанный по рукам и ногам, я против воли отправляюсь в путешествие под звездами. Но, возможно, я не так уж несчастен…

Если не двигать ни одним мускулом, не чувствуешь больше холода. И вот я забываю о своем теле, онемевшем под песком. Не буду больше двигаться — и никогда больше не буду страдать. Да и не так уж я, по правде говоря, страдаю… Все эти муки оркестрованы усталостью и бредом. Они превращены в книгу с картинками, в немного жестокую сказку… Еще недавно ветер травил меня, и, чтобы бежать от него, я кружил, как загнанный зверь. Потом мне стало трудно дышать: чье-то колено давило мне на грудь. Колено. Я отбивался от навалившегося на меня ангела смерти. Никогда я не был одинок в пустыне. Теперь, когда я больше не верю в то, что окружает меня, я ухожу в себя и не шевелю даже ресницами. Чувствую, поток образов влечет меня в тихое забытье; реки успокаиваются в толще моря.

Прощайте те, кого любил. Не моя вина, если человеческое тело не выдерживает трех дней без воды. Не думал я, что человек до такой сте-

пени в плену у источников. Не подозревал, что человек так ограничен в своей свободе. Обычно думают, что человек может идти куда хочет, что он свободен… Люди не видят веревки, которая привязывает их к колодцам, которая подобно пуповине привязывает их к чреву земли. Сделает человек лишний шаг — и умирает.

Я сожалею лишь об одном — о ваших страданиях. В конечном счете мне досталась самая лучшая доля. Если бы я вернулся, я взялся бы за старое. Мне нужна жизнь, а в городах нет больше настоящей жизни.

И дело не в авиации. Самолет — средство, а не цель. Рискуешь жизнью не ради самолета. Как и крестьянин пашет не ради плуга. Но при помощи самолета покидаешь город с его счетоводами и возвращаешься к крестьянской правде.

Занимаешься настоящим человеческим трудом и познаешь человеческие заботы. Вступаешь в соприкосновение с ветром, звездами, ночью, с песками, с морем. Состязаешься в хитрости с силами природы. Ждешь рассвета, как садовник ждет весны. Ждешь очередного аэродрома, как землю обетованную, и ищешь свою правду в звездах.

Я не сетую на свою судьбу. Три дня я бродил,

страдал от жажды, шел по следам на песке, и единственной моей надеждой стала роса. Я пытался добраться до существ одного со мной рода-племени, позабыв, где они обитают на земле. Так и должен жить человек. Я считаю, что это важнее, чем выбирать по вечерам, в какой мюзик-холл пойти.

Мне уже не понять пассажиров пригородных поездов, этих людей, считающих себя людьми и не замечающих, что на самом деле гнет низвел их до роли муравьев. Чем заполняют они свои досуги, свои нелепые, ничтожные воскресенья?

Однажды, в России, я слышал, как на одном заводе играли Моцарта. Я написал об этом и получил двести ругательных писем. Я не питаю неприязни к тем, кто предпочитает ярмарочный балаган. Они не знают другой музыки. Я питаю неприязнь к содержателям балаганов — не люблю, когда калечат людей.

Что до меня, то мое ремесло дало мне счастье. Я чувствую себя крестьянином аэродромов. В пригородных поездах я задыхаюсь, здесь — нет! В конечном счете быть здесь — роскошь!..

Я не сожалею ни о чем. Я играл и проиграл. Таково мое ремесло. А все же я дышал им, воздухом моря!

Кто хоть раз отведал его, не забудет этой пищи! Не правда ли, товарищи мои? И дело не в том, чтобы жить среди опасностей. Эта формулировка претенциозна. Мне вовсе не по сердцу тореадоры. Я люблю не опасности. Я знаю, что я люблю — жизнь.

Кажется, небо начинает светлеть. Вытягиваю руку из песка. Рядом со мной — парашютное полотнище; щупаю его — оно сухое. Влага выступает на рассвете. Но заря взошла, а полотнища не намокли. Мои мысли начинают путаться, и я слышу свои слова: «Здесь сухое сердце... сухое сердце, сухое сердце, в котором нет слез!..»

— В путь, Прево! Наши глотки еще не ссохлись, — надо идти.

7

Теперь потянул тот самый западный ветер, который иссушает человека за девятнадцать часов. Моя гортань еще не ссохлась, но затвердела и болит. Чувствую уже, как что-то свербит в ней: скоро начнется кашель, о котором мне говорили, жду его. Язык мешает мне. Но ужаснее всего, что в глазах начинают появляться сверкающие блики. Как только они превратятся в пламя — сразу

же слягу.

Мы шагаем быстро. Пользуемся утренней прохладой. Нам прекрасно известно, что, когда солнце начнет припекать, как говорится, в полную силу, мы не сможем больше идти. В полную силу…

Мы не вправе потеть и даже отдыхать. Эта прохлада содержит всего лишь восемнадцать процентов влажности. Ветер дует из глубины пустыни. Под его лживой и нежной лаской испаряется наша кровь.

В первый день мы поели немного винограда. За последние три дня — по половине апельсина и кусочку кекса. Откуда, бы мы взяли слюну, если бы пришлось жевать пищу? Но голода я не испытываю никакого, чувствую лишь жажду. И мне кажется, что в еще большей мере, чем от жажды, я страдаю от ее последствий; гортань затвердела, язык точно гипсовый. В горле царапает, во рту отвратительный вкус. Эти ощущения для меня новость. Наверно, вода излечила бы от них, но в моих воспоминаниях нет ничего, что связывало бы мои ощущения с этим лекарством. Жажда все больше и больше становится болезнью и все меньше и меньше — желанием.

Родники и фрукты перестают волновать меня.

Я забываю о лучезарности апельсина, как забываю, кажется, о своих привязанностях. Я забываю, быть может, уже обо всем.

Мы сидим, но нужно снова идти. Отказываемся от больших переходов. Пройдя пятьсот метров, валимся от усталости. Испытываю огромное удовольствие, когда ложусь. Но снова нужно идти.

Пейзаж меняется. Камни попадаются все реже. Мы идем теперь по песку. Впереди в двух километрах — дюны. На дюнах несколько пятен низкорослой растительности. Предпочитаю песок стальному панцирю. Это светлая пустыня. Это Сахара. Мне кажется, я узнаю ее.

Теперь мы выдыхаемся после каждых двухсот метров.

— Дойдем все же хотя бы до кустов.

Это уже крайний предел. Восемь дней спустя, когда на машине мы возвращались по своему следу за «Симуном», то убедились, что в этот последний раз сделали переход в восемьдесят километров. Я уже прошел около двухсот. Смогу ли идти дальше?

Вчера я шел без всякой надежды. Сегодня сами слова эти потеряли смысл. Сегодня мы идем, потому что идем. Так идут, вероятно, быки, запряженные в плуг. Вчера я мечтал о райских

апельсиновых рощах. Но сегодня для меня уже не существует рая. Я больше не верю в существование апельсинов.

Я не вижу в себе ничего, кроме беспредельной сухости сердца. Сейчас я упаду, но отчаяния не чувствую. Ни даже огорчения. Сожалею об этом: печаль показалась бы мне сладостной, как вода. Можно жалеть и оплакивать себя, как это сделал бы друг. Но у меня нет больше на свете друзей.

Когда меня найдут с обожженными глазами, вообразят, что я долго мучался, долго звал на помощь. Но порывы, сожаления, трогательные мучения — это все еще богатства. А у меня нет больше богатств. Молодые девушки в ночь своей первой любви охвачены печалью и плачут. Страдание связано с биением жизни. А я уже не страдаю…

Пустыня — это я. Иссякла слюна, но иссякли и те светлые образы, к которым я мог бы взывать. Солнце высушило во мне источник слез.

И, однако, что это? Дуновение надежды коснулось меня, как морской ветерок. Что же разбудило мой инстинкт, раньше чем дошло до сознания? Ничто не изменилось — и все изменилось. Песчаная скатерть, пригорки, негустые пятна зелени стали вдруг не пейзажем, а сценой. Сценой еще

пустой, но уже полностью подготовленной. Смотрю на Прево. Он поражен не менее меня и тоже не отдает себе отчета в своих ощущениях.

Ей-богу, сейчас что-то произойдет…

Ей-богу, пустыня ожила. Ей-богу, эта пустота и безмолвие внезапно волнуют больше, чем гул на людной площади…

Мы спасены: на песке — следы!..

О! Мы потеряли было след человеческого рода, мы были отрезаны от нашего племени, мы оказались одни на свете, забытые при каком-то всемирном переселении, — и вот мы находим отпечатавшиеся на песке чудесные следы человека.

— Вот здесь, Прево, разошлись два человека…

— А здесь верблюд стал на колени…

— Здесь…

А между тем до спасения еще далеко. Ждать — нельзя. Через несколько часов нас уже не спасти. Когда начинается кашель — жажда действует слишком быстро. А горло…

Но я верю в караван, который бродит где-то в пустыне.

Итак, мы снова пошли, и вдруг я услышал пение петуха. Гийоме рассказывал мне: «Под конец я слышал пение петухов в Андах. Я слышал также

шум поезда…»

Я вспомнил о его словах, как только услышал пение петуха, и подумал: «Первыми меня обманули глаза. Вероятно, и теперь это действие жажды. Мои уши выдержали дольше…» Но Прево хватает меня за руку:

— Вы слышали?

— Что?

— Петух!

— Тогда… тогда…

Тогда, конечно же, глупец, — это жизнь…

У меня все же была еще одна последняя галлюцинация: три гнавшиеся друг за дружкой собаки. Прево тоже смотрел туда, но ничего не видел. Но вот мы оба протягиваем руки к бедуину. Мы оба, задыхаясь, бежим к нему. Мы оба смеемся от счастья!..

Но наших голосов не слышно в тридцати метрах. Голосовые связки уже совсем высохли. Мы разговаривали друг с другом очень тихо и даже не замечали этого!

И бедуин со своим верблюдом, показавшиеся из-за холмика, медленно-медленно удаляются. Быть может, этот человек здесь один. Жестокий демон показал нам его и уже уводит…

А мы больше не в силах бежать!

Другой, обращенный к нам профилем араб появляется на дюне. Мы орем, но совсем тихо. Тогда мы машем руками, и нам кажется, что все небо наполняется этими сигналами. Но бедуин продолжает смотреть направо.

И вот, неторопливо, он начинает поворачиваться. Как только он повернется к нам лицом, все будет кончено. Как только бедуин посмотрит в нашу сторону, он разом сотрет жажду, смерть, миражи. Он начал поворот, который уже меняет мир. Одним только поворотом головы, одним только взглядом он творит жизнь — и он кажется мне подобием божества…

Это чудо… Он идет к нам по песку, как некий бог по морю…

Араб только взглянул на нас, положил нам руки на плечи — и мы подчинились. Мы легли… Нет здесь больше ни различия рас, ни различия языков, ни разногласий… Лишь бедный кочевник, который возложил нам на плечи руки архангела.

Мы ждали, уткнувшись лбом в песок. А теперь мы пьем, лежа на животе, погрузив головы в таз, как телята. Бедуин пугается и ежеминутно заставляет нас отрываться от воды. Но как только он нас отпускает, мы снова погружаем в нее лица.

Вода!

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты — сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснить нашими чувствами. С тобой возвращаются к нам силы, с которыми мы уже простились. По твоей милости в нас вновь начинают бурлить высохшие родники нашего сердца.

Ты самое большое богатство на свете, но и самое прихотливое, ты — такая чистая в чреве земли. Можно умереть возле источника с водой, отравленной окисью магния. Можно умереть в двух шагах от соленого озера. Можно умереть, несмотря на два литра росы, которая содержит осадок некоторых солей.

Ты не приемлешь никаких примесей, ты не выносишь порчи, ты. — пугливое божество…

Но с тобой вливается в нас бесконечно простое счастье.

Что до тебя, спасший нас ливийский бедуин, твой облик совершенно сотрется из моей памяти. Я никогда не смогу вспомнить твоего лица. Ты — Человек и рисуешься мне с лицом всех людей. Ты никогда нс присматривался к нам — и сразу

же узнал. Ты — возлюбленный брат мой. И я в свою очередь узнаю тебя в каждом человеке.

Я вижу тебя в ореоле великодушия и добра; ты — могущественный повелитель, владеющий даром утолять жажду. В твоем лице все мои друзья, все мои враги протягивают мне руку — и нет у меня на свете больше ни одного врага.

VIII. Люди

1

Еще раз я соприкоснулся с истиной — и не понял ее. Я думал, что гибну, думал, что достиг последней грани отчаяния, и, уже смирившись, обрел душевный покой. В такие часы кажется, что открываешь самого себя, становишься сам себе другом. Все кажется ничтожным в сравнении с этим обретенным чувством внутренней полноты, утоляющим в нас какую-то глубочайшую потребность, имени которой мы не знаем. Мне кажется, что Боннафус, истощавший свои силы в состязании с ветром, познал этот душевный покой. И Гийоме среди снегов — тоже. И могу ли я забыть о том, как у меня самого, когда я был по горло засыпан песком и постепенно задыхался от жажды, стало вдруг тепло на душе под плащом звездного неба.

Как достичь этого внутреннего раскрепощения? Хорошо известно, как все в нас противоречиво. Обеспечишь, например, человеку хлеб, чтобы он мог творить, а он засыпает; завоеватель, одержавший победу, теряет твердость; щедрый,

разбогатев, становится скупцом. Что толку в политических учениях, ставящих себе целью добиться расцвета личности, коль нельзя знать заранее, расцвету какого типа людей они способствуют? Каков будет тот, кто родится? Ведь мы не скот, предназначенный на откорм, и рождение бедняка Паскаля значит куда больше, чем появление на свет нескольких благоденствующих ничтожеств.

Главного-то мы и не можем предвидеть. Каждому из нас случалось познать самые жгучие радости там, где ничто не обещало их. И они оставляли такую неизгладимую память, что она заставляла порой сожалеть даже о горестных событиях, если они дали познать радость. Всем нам проходилось, встречаясь с товарищами, испытывать волшебную силу тяжелых воспоминаний. Ничего мы не знаем, кроме того, что есть какие-то неведомые условия, которые способствуют нашему росту. В чем истина человека?

Истина не лежит на поверхности явлений. Если именно в этом, а не в другом грунте пускают крепкие корни и приносят плоды апельсиновые деревья — значит, этот грунт и есть истина для апельсиновых деревьев. Если эта религия, эта культура, эта мера ценностей, эта форма деятель-

ности — именно эта, а не иная — дает человеку ощутить душевную полноту, дает возможность проявиться в нем величию, о котором он и не подозревал, — значит, эта мера ценностей, эта культура, эта форма деятельности является истиной человека. А логика? Пусть выкручивается, как хочет, чтобы объяснить жизнь.

В этой книге я упоминал о некоторых из людей, которые подчинились властному зову своего призвания и избрали пустыню или гражданскую авиацию, как другие избрали бы монастырь. Но я изменил бы своей цели, если бы оказалось, что я побуждаю вас восхищаться в первую очередь этими людьми. Восхищения прежде всего достойна почва, на которой они выросли.

Влечение несомненно играет известную роль. Одни — замыкаются в своих лавках. Другие — неудержимо идут своим путем, который приведет их к цели. Даже в детстве у них можно найти зачатки тех устремлений, которые определяют позднее их судьбу. Однако, если знакомиться с историей задним числом, она может обмануть. И в самом деле, ведь подобные устремления свойственны почти всем людям. Все мы знавали лавочников, которым однажды в ночь пожара или кораблекрушения довелось проявить себя

с лучшей стороны. И они не строят никаких иллюзий относительно этой душевной полноты: та ночь так и останется вершиной в их жизни. Но за отсутствием нового случая, благоприятной почвы или властных велений религии они вновь засыпают, так и не уверовав в свое собственное величие. Конечно, призвание — помогает человеку стать свободным, но не менее необходимо, чтобы человек мог свободно следовать призванию.

Ночи полетов, ночи в пустыне… такое доступно не всем людям. А между тем, когда обстоятельства вдохновляют людей, оказывается, что у всех у них те же запросы. Я ничуть не отвлекусь от своей темы, если расскажу вам об одной ночи в Испании, о ночи, которая научила меня этому. Я так много рассказывал о нескольких людях, что мне хотелось бы поговорить обо всех.

Это было на мадридском фронте. Я посетил его как журналист. В тот вечер в подземном убежище я обедал с одним молодым капитаном.

2

Мы беседовали, вдруг зазвонил телефон. Последовал долгий разговор: с КП передавали приказ — речь шла об атаке местного значения, о бес-

смысленной, отчаянной атаке, целью которой было овладеть в рабочем пригороде несколькими домами, превращенными в бетонированные укрепления. Капитан пожимает плечами и возвращается к столу: «Первые из нас, которые высунутся…», — он наливает по стакану — коньяка сержанту и мне.

— Мы выходим с тобой первыми, — говорит он сержанту. — Пей и ложись спать.

Сержант пошел спать. Мы бодрствуем, у стола нас человек десять. В старательно законопаченной комнате, из которой ни один луч не просачивается наружу, свет так резок, что я щурю глаза. Пять минут тому назад я выглянул в бойницу. Отодвинув тряпку, которая маскировала отверстие, я увидел залитые мертвящим лунным светом развалины домов, населенных призраками. Когда я снова затянул отверстие тряпкой, мне показалось, что я стер луч луны, как струю масла. И голубовато-зеленые крепости по-прежнему стоят у меня перед глазами.

Солдаты, находящиеся здесь, вероятно не вернутся, но об этом сдержанно молчат. Такая атака — в порядке вещей. Для нее черпают людей из имеющегося запаса. Черпают зерно из закромов. Бросают пригоршню в землю, чтобы произвести

посев.

И мы пьем коньяк. Справа от меня сражаются в шахматы. Слева — шутят. Где я? Вваливается полупьяный человек. Он теребит взъерошенную бороду и обводит нас нежным взглядом. Взор его падает на коньяк, отрывается, возвращается к коньяку и с мольбой устремляется на капитана. Капитан тихо посмеивается. Человек, чувствуя прилив надежды, тоже смеется. Приглушенный смех передается присутствующим. Капитан потихоньку отодвигает бутылку, взгляд человека выражает отчаяние; и вот завязывается ребяческая игра — своего рода беззвучная пантомима, которая в этом густом дыму сигарет, в усталости бессонной ночи, сквозь образ предстоящей атаки кажется наваждением.

И мы играем, запертые в теплом трюме нашего корабля, а снаружи все учащаются взрывы, напоминающие удары волн.

Вскоре эти люди вытравят пот, алкоголь, ржавчину, растворив их в царской водке боевой ночи. Я чувствую, как близки они к очищению. Однако они еще танцуют, затягивая возможно дольше балет пьяницы и бутылки. Не заканчивают возможно дольше эту партию в шахматы, продлевая жизнь, насколько могут. Но они завели будиль-

ник, властвующий над ними с высоты этажерки. И звонок раздастся. Тогда люди встанут, потянутся, застегнут пояса. Капитан снимет с гвоздя свой револьвер. Пьяница протрезвится. И тогда, неторопливо, они войдут в проход, постепенно подымающийся к голубому прямоугольнику лунного света, произнесут что-нибудь совсем обычное: «Чертова атака...» или «Холодно!» И затем нырнут.

Время подошло, и я увидел пробуждение сержанта. Он спал на железной койке посреди замусоренного погреба. Я смотрел, как он спит. Казалось, я сам ощущаю вкус этого безмятежного и такого счастливого сна.

Он напомнил мне о том первом дне в Ливийской пустыне, когда, выброшенные на песок, без воды, обреченные, мы с Прево смогли еще, — до того, как почувствовали уж очень сильную жажду, — один раз поспать; только один раз — целых два часа. Засыпая тогда, я понял, что обладаю замечательной властью — отбросить реальный мир. Мое тело пока не беспокоило меня, и, едва подложив руки под голову, я понял, что наступающая ночь ничем для меня не будет отличаться от обычной счастливой ночи.

Так спал и сержант, свернувшись калачиком,

будто и не человек лежал на кровати; и когда те, кто пришел разбудить его, зажгли свечу, воткнув ее в горлышко бутылки, я вначале не различил ничего в этой бесформенной массе, кроме торчащих из нее башмаков. Огромных башмаков, подбитых гвоздями и подковками, башмаков батрака или докера.

Человек этот был обут в орудия труда, да на нем и не было ничего, кроме орудий: подсумки, револьверы, ремни, пояс. На нем было вьючное седло, хомут — вся сбруя рабочей лошади. Я видел в погребах Марокко слепых лошадей, вращающих жернова. Здесь, в дрожащем красноватом свете свечи, тоже будили слепую лошадь, чтобы она вращала свой жернов.

— Эй! Сержант!

Он медленно пошевелился и пробормотал что-то: показалось заспанное лицо. Однако он не желал просыпаться, отвернулся к стене и снова погрузился в сон, как в покой материнского чрева, как в водяные глубины. Его судорожно сжавшиеся руки как бы цеплялись за какие-то черные водоросли. Пришлось разжать ему пальцы. Мы присели на кровать, один из нас просунул руку ему под шею и, улыбаясь, приподнял тяжелую голову. Это напоминало ласку лошадей, которые

трутся друг о друга холками в теплом стойле. «Эй! Дружок!» Никогда не приходилось мне видеть большей нежности. Сержант сделал последнюю попытку вернуться к своим счастливым снам, отбросить наш мир динамита, изнурительных усилий и ледяной ночи; но поздно. Нечто явившееся извне властно звало его. Так в воскресенье в коллеже звонок будит провинившегося школьника. Он забыл уже о парте, классной доске и наложенном на него наказании. Ему снились деревенские игры; напрасно. Звонок продолжает звонить и неумолимо возвращает его в мир людской несправедливости. Подобно этому школьнику, сержант мало-помалу снова вживался в свое помятое усталостью, ненужное ему тело, которое, кроме холода пробуждения, вскоре познает горестную боль в суставах, груз снаряжения, тяжелый бег и смерть. И не столько смерть, как липкую кровь, в которую опускаешь руки, чтобы подняться, как затрудненное дыхание, как лед кругом, и не столько смерть, как неуютность умирания. Глядя на него, я все вспоминаю свое собственное безотрадное пробуждение в пустыне, вновь навалившееся на меня бремя жажды, солнца, песков; вновь навалившееся на меня бремя жизни — этого сна, выбор которого

зависит не от тебя.

Но вот сержант встал и смотрит нам прямо в глаза:

— Пора?

Вот тут-то и появляется человек. Вот тут-то он и ускользает от всех предвидений логики: сержант улыбался! Что ж привлекало его?

Мне вспоминается одна ночь в Париже. Вместе с Мермозом мы праздновали в кругу друзей чье-то рожденье и под утро очутились у дверей бара, досадуя на себя, что так много выпили, так много говорили и так бессмысленно устали. Небо уже начинало бледнеть. Внезапно Мермоз сжал мне руку, сжал так сильно, что я почувствовал его ногти. «Знаешь, это час, когда в Дакаре...» Это был час, когда механики протирают глаза и снимают с винтов чехлы, когда пилот идет за сводкой погоды, когда земля населена лишь друзьями. Уже небо начинало окрашиваться, уже шли приготовления к празднику, но для других, уже расстилали пиршественную скатерть, и мы не были в числе приглашенных. Другие будут рисковать...

«А здесь — какое болото...» — заключил Мермоз.

А ты, сержант? На какой банкет, за который

стоило умереть, был приглашен ты?

Ты уже излил мне душу, рассказал свою историю. Ты был маленьким бухгалтером где-то в Барселоне и подсчитывал столбцы цифр, не очень-то интересуясь политической борьбой в стране. Но вот один товарищ вступил добровольцем в армию, затем — другой, третий, и ты с удивлением ощутил в себе что-то небывалое и новое: мало-помалу занятия твои показались тебе ничтожными. Твои радости, заботы, твое маленькое благополучие — все это не соответствовало времени. Главное было не в этом. И тут ты узнал о смерти одного из товарищей, убитого около Малаги. Речь не шла о друге, за чью смерть ты хотел бы отомстить. Политика никогда тебя не волновала. Но все же эта весть, как порыв морского ветра, пронеслась над вами, над вашим ограниченным существованием. Один из товарищей взглянул на тебя в это утро и спросил:

— Пошли?

— Пошли.

И вы «пошли».

Передо мной встают образы, объясняющие мне истину, которую ты не сумел выразить словами, но которая со всей очевидностью определяла твои поступки.

Во время перелета птиц в районах, над которыми летят дикие утки, можно наблюдать любопытные явления. Домашние утки, которых как бы притягивает проносящийся над ними треугольник, неуклюже пытаются оторваться от земли. Дикий зов пробуждает в них какие-то остатки забытых инстинктов. И вот домашние утки превращаются на минуту в перелетных птиц. В их маленьких твердых головках, где гнездились лишь убогие образы лужи, червей, птичника, разворачиваются вдруг картины континентов, география морей, просыпается тяга к воздушным просторам. Птица и не подозревала, что мозг ее достаточно объемист, чтобы вместить столько чудес, а тут она бьет крыльями, пренебрегает зернами, пренебрегает червями и хочет стать дикой уткой.

Но еще более явный пример — мои газели. В Джуби у меня были газели. У всех у нас там были газели. Мы их держали на открытом воздухе, в загоне, огороженном металлической сеткой, потому что газелям необходима текучая влага ветров, ведь это такие хрупкие создания! И все же, если их изловить совсем молодыми, они живут в неволе и едят из ваших рук. Они дают себя гладить и тычутся влажной мордой в ладонь.

И думаешь, что они приручены. Думаешь, что уберег их от неведомого горя, которое бесшумно убивает газелей, делая их смерть такой трогательной… Но наступает день, и вдруг видишь, как они упираются рожками в ограду, отделяющую их от пустыни. Их притягивает туда, как магнитом. Они не знают, что хотят уже бежать от вас. Они только что выпили молоко, которое вы принесли, они дают гладить себя и еще нежнее тычутся мордой в вашу ладонь… Но стоит отпустить их, и вы открываете, что, сорвавшись с места в счастливом галопе, они снова возвращаются к металлической сетке загона. Если не вмешаться, они так и останутся около сетки с поникшей головой, не пытаясь даже преодолеть преграду, лишь напирая на нее своими рожками — и так до самой смерти. Настала ли для них пора любви, родилась ли попросту потребность в стремительном, захватывающем дыханье беге? Они сами того не знают. Глаза их еще не были открыты, когда вы их изловили. Им неведомы ни свобода в песках, ни запах самца. Но вы умнее их. Вы знаете, что только просторы дадут им полную завершенность. Они хотят стать газелями и плясать свою пляску. Они хотят мчаться по прямой со скоростью ста тридцати километров

в час, время от времени шарахаясь в сторону, как если бы то тут, то там из песка вырывалось пламя. И пусть существуют шакалы, если истина газелей заключается в том, чтобы испытывать страх, который заставляет их превзойти самих себя в прыжках! И пусть существует лев, если истина газелей заключается в том, чтобы быть разорванными ударом его когтей в лучах солнца! Смотришь на них и думаешь: их грызет тоска. Тоска — это жажда чего-то неизвестного... То, чего жаждешь, существует, но словами этого не выразишь.

А мы? Чего недостает нам?

Вот ты, сержант, отчего у тебя родилась уверенность, что здесь на фронте ты верен своей судьбе? Быть может, тебе сказала об этом братская рука, приподнявшая твою сонную голову, быть может — нежная улыбка, полная не сострадания, а сознания общей участи? «Эй, товарищ!..» Когда один сочувствует другому — их еще двое. Они еще разделены. Но есть уровень отношений, когда признательность, как и жалость, теряет смысл. Вот тут-то и вдыхаешь полной грудью, как узник, выпущенный на свободу.

Нам знакомо было такое единение, когда мы пересекали еще не покоренные районы Рио-де-Оро

на двух самолетах. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы потерпевший аварию благодарил своего спасителя. Во время утомительной переброски почты из самолета в самолет мы чаще всего даже переругивались: «Сволочь! Это ты виноват, что я потерпел аварию! Все твоя страсть летать на высоте двух миль, наперекор воздушным течениям! Если бы ты шел за мной, мы были бы уже в Порт-Этьенне!» И спасителя, рисковавшего своей жизнью, одолевал стыд за то, что он поступил, как сволочь. За что, впрочем, было его благодарить? Ведь и он имел такое же право на нашу жизнь. Мы были ветвями одного дерева. И я гордился тобой, моим спасителем!

Почему бы ему жалеть тебя, сержант, ему, который готовил тебя на смерть? Ведь все вы рисковали жизнью один ради другого. В такие минуты обнаруживаешь единство, которое не нуждается в словах. Мне понятен твой уход в армию. Если в Барселоне ты был беден, если ощущал после работы свое одиночество, если даже тело твое не находило пристанища, то здесь ты почувствовал, что осуществляешь свое истинное призвание, завершаешь себя и как бы приобщаешься к чему-то всеобъемлещему — наконец-то тебя, парию, приемлет любовь.

Плевать мне на то, были ли искренними, или нет, были ли логичными, или нет те высокие слова политиков, которые, быть может, запали тебе в душу. Если они пустили в тебе корни, если проросли как семена, — значит, они отвечали твоим запросам. Тебе одному судить об этом. Каждой земле свое зерно.

3

Мы только тогда свободно дышим, когда связаны с нашими братьями общей целью, лежащей вне нас. И опыт показывает, что любить — это значит не смотреть друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении. Товарищи — только те, кто, держась, за один канат, общими усилиями взбираются на горную вершину и в этом обретают свою близость. Иначе — почему бы в век комфорта мы ощущали такую полноту счастья, делясь в пустыне последними съестными припасами? Чего стоят по сравнению с этим предвидения социологов? Всем нам, познавшим великое счастье выручать потерпевших аварию в Сахаре, всякая иная радость показалась бы ничтожной.

Быть может, именно поэтому мир вокруг нас и начинает сейчас трещать по всем швам. Каждый исповедует какое-то учение, обещающее ему

душевную полноту. У всех нас под противоречивыми словами скрываются те же стремления. Нас разделяют методы — плод рассуждений, — а не цели: они у всех одни и те же.

Поэтому нечего и удивляться. Для того, кто однажды в Барселоне, в подвале анархистов, узнав их способность жертвовать собой, их взаимопомощь, их суровую справедливость, почувствовал, как пробудилось в нем то неведомое, что раньше дремало, — нет и не будет иной правды, кроме правды анархистов. Тот же, кому однажды выпало стоять на страже, охраняя маленьких, перепуганных насмерть, коленопреклоненных монахинь в каком-либо из монастырей Испании, — тот так и умрет за церковь.

Если бы вы сказали Мермозу, когда он нырнул к чилийским склонам Анд, всем сердцем ощущая победу, что все это зря, что письма какого-нибудь купца вряд ли стоят того, чтобы он рисковал жизнью, Мермоз высмеял бы вас. Истина в том, что при перелете через Анды в нем рождался человек.

Если вы хотите убедить человека, приемлющего войну, в том, что война — это ужас, не называйте его варваром, постарайтесь понять его, прежде чем судить.

Поразмыслите, например, над случаем с одним офицером с юга. Во время Рифской[7] войны офицер этот командовал укрепленным пунктом, вклинившимся между двумя возвышенностями, занятыми повстанцами. Однажды вечером он вел переговоры с парламентерами с западных гор. Как водится, пили чай. Внезапно началась перестрелка: племена с восточного массива атаковали пост. Капитан хотел было выставить парламентеров, чтобы иметь возможность принять участие в бою, но они сказали ему: «Сегодня мы твои гости. Бог не позволяет нам оставить тебя...» Они присоединились к его людям, спасли пост, затем возвратились в свое орлиное гнездо.

Но накануне того дня, когда они в свою очередь решили напасть на пост, они отправили к капитану посланцев.

— В ту ночь мы тебе помогли...

— Правильно...

— Мы израсходовали триста патронов...

— Правильно.

— По справедливости, ты должен нам их отдать.

И капитан, преисполненный великодушия, не

[7] Примечания: 7

Одна из захватнических войн, которые Испания вела против рифских племен в Марокко.

может воспользоваться преимуществом, которым он обязан их благородству. Он возвращает им патроны, которые они используют против него.

Истина человека — это то, что делает его человеком. Когда человек, познавший такое благородство в отношениях между людьми, такую честность в игре, такое взаимное уважение во всех случаях — на жизнь и на смерть, — сравнивает это величие с убогим благодушием демагога, который выразил бы свое братское отношение к тем же арабам похлопыванием по плечу, одновременно польстив им и унизив их, — такой человек, если вы будете спорить с ним, почувствует к вам только презрительную жалость. И он будет прав.

Но и вы будете правы в своей ненависти к войне.

Чтобы понять человека и его нужды, чтобы познать, в чем его сущность, не надо противопоставлять друг другу очевидность ваших истин. Да, вы правы. Вы все правы. Приемами логики можно доказать все. Прав даже тот, кто сваливает вину за все несчастья в мире на горбатых. Стоит объявить войну горбатым — и мы тотчас научимся ненавидеть их. Мы будем карать горбатых за их преступления. А горбатые, разумеется, тоже

совершают преступления.

Чтобы попытаться выявить, в чем сущность человека, нужно на мгновение отвлечься от раздоров, ибо, упорствуя, каждая из сторон выдвигает целый коран незыблемых истин, порождающих фанатизм. Можно поделить людей на правых и левых, на горбатых и не горбатых, на фашистов и демократов, и под такое деление не подкопаешься. Но истина, как вам известно, вносит в мир простоту, а не хаос. Истина — это язык, выявляющий всеобщие закономерности. Ньютон вовсе не «открыл» — как решают ребус — закон, долго остававшийся неизвестным, Ньютон совершил творческий акт. Он создал такой язык, с помощью которого человек может рассказать и о падении яблока на лужайку и о восходе солнца. Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает все проще и понятнее.

Зачем спорить об идеологиях? Если их положения и доказуемы, то в то же время все они противостоят друг другу. Идеологические споры убивают надежду на спасение человека. А между тем повсюду вокруг пас люди жаждут одного и того же.

Мы хотим освобожденья. Тот, кто работает

киркой, хочет видеть смысл в работе киркой. Каторжник работает киркой — и эта работа унижает каторжника; разведчик недр тоже работает киркой, — и эта работа приподымает геолога. Каторга отнюдь не там, где работают киркой. Ее ужасы не материального порядка. Каторга — там, где работа киркой лишена всякого смысла, где работа не связывает того, кто трудится, со всеми людьми.

И мы хотим бежать с каторги.

Есть в Европе двести миллионов человек, чье существование лишено смысла и которые хотели бы пробудиться к жизни. Промышленность порвала их связи с жизнью многих поколений крестьян и заперла в огромных гетто, напоминающих сортировочные станции, забитые составами закопченных вагонов. Население рабочих поселков хочет, чтобы его пробудили.

Есть и другие — люди, погрязшие в рутине разных профессий, люди, которым недоступны радости изобретателя, радости веры, радости ученого. Кое-кому думалось, что достаточно одеть их, накормить, удовлетворить все их насущные потребности, чтобы возвысить их душу. И вот мало-помалу из них создали мещан, описанных

Куртелином[8], сельских политиков, техников, лишенных внутренней жизни. Им дают неплохое образование, но это не культура. Тот, кто думает, что культура — набор вызубренных формул, невысокого о ней мнения. Посредственный ученик специального класса лицея знает больше о природе и ее законах, чем Декарт и Паскаль. Однако разве такой ученик способен мыслить, как они?

Все люди — одни более, другие менее смутно — ощущают потребность родиться заново. Но существуют обманчивые решения этой проблемы. Конечно, можно воодушевить людей, надев на них военную форму. Они будут петь военные гимны и делиться хлебом со своими товарищами по оружью. Они обретут то, чего ищут, — они ощутят, что приобщились к чему-то всечеловеческому. По за этот хлеб им придется умереть.

Можно вновь вытащить на свет деревянных идолов и воскресить старые мифы, которые — хорошо ли, плохо ли — уже проявили свою силу; можно возродить и дурман пангерманизма и мистику Римской империи. Можно одурманивать немцев тем, что они немцы и соотечественники

---

[8] Примечания: 8
Французский литератор (1858–1929).

Бетховена. Этим можно одурманить всех до последнего чернорабочего. Это, разумеется, проще, чем выявить в нем Бетховена.

Но все эти идолы — идолы плотоядные. Тот, кто умирает ради того, чтобы двинуть вперед наши познания, или ради возможности излечивать болезни, тот, и умирая, служит жизни. Быть может, очень красиво умереть за территориальные приобретения, но теперешняя война уничтожает все то, чему она имеет претензию служить. Сегодня речь идет уже не о нескольких каплях крови, которые надо принести в жертву ради возрождения целой расы. С тех пор как воюют при помощи самолетов и иприта, война стала кровавой хирургией. Каждый из противников укрывается за бетонной стеной, каждый, за неимением лучшего, посылает из ночи в ночь эскадрильи, которые бомбят другого, поражая его в самое нутро, взрывая его жизненные центры, парализуя его промышленность и транспорт. Победит тот, кто сгниет последним. И оба противника гниют одновременно.

В этом мире, ставшем пустыней, мы жаждем найти товарищей; и вкус хлеба, которым делишься с товарищем, побудил нас принять войну. Но не война нужна для того, чтобы обрести тепло-

ту, обрести чувство локтя в беге к единой цели. Война — обман. Ненависть ничего не прибавляет к азарту бега.

Зачем ненавидеть друг друга? Ведь интересы у нас общие, мы все уносимся вдаль на одной и той же планете, — мы экипаж одного корабля. Неплохо, когда различные цивилизации противостоят друг другу, способствуя образованию новой, общей цивилизации; чудовищно, когда они пожирают друг друга.

Если для нашего раскрепощения достаточно помочь нам найти общую цель, которая свяжет нас всех, то не лучше ли искать ее в том, что нас всех объединяет? Хирург, осматривающий больного, не обращает внимания на его стоны; ему безразлично, кто стонет, — он лечит человека. Есть в действиях хирурга выражение всеобщего, как есть оно и в почти божественных уравнениях физика, объемлющих и суть атома и суть небесных туманностей. Есть оно и в труде обыкновенного пастуха. Ибо стоит человеку, скромно стерегущему под звездами нескольких овец, осознать свою роль, как он ощутит себя не простым слугой, а часовым. А ведь каждый часовой несет ответственность за судьбы всей империи.

Неужели вы можете поверить, что пастух не хо-

чет осознать свою роль? Я посетил на Мадридском фронте школу; она приютилась за невысокой каменной оградой на холмике в пятистах метрах от линии траншей. В этой школе капрал преподавал ботанику. Расправляя заскорузлыми пальцами нежные лепестки и тычинки мака, он притягивал к себе из оконной грязи бородатых людей, которые под снарядами совершали к нему паломничество. Добравшись до капрала, они садились вокруг него на манер портных и, подперев подбородок рукой, молча слушали. Они хмурили брови, сжимали зубы и мало что понимали в его объяснениях. Но им сказали: «Вы невежды, вы только-только вылезли из своих берлог, надо нагнать человечество!» И, тяжело ступая, они торопились его нагнать.

Мы будем счастливы только тогда, когда осознаем свою хотя бы и самую скромную роль. Только тогда мы сможем жить и умирать в мире. Ибо то, что придает смысл жизни, придает смысл и смерти.

Смерть так тиха, когда она естественна, когда старый провансальский крестьянин в конце своего царствования передает на хранение сыновьям своих коз, свои оливковые деревья, дабы и они в свою очередь передали их сыновьям своих

сыновей. В крестьянском роду умирают лишь наполовину. Жизнь каждого крестьянина лопается, когда приходит час, как стручок, выбрасывающий зерна.

Я однажды столкнулся с тремя крестьянами у смертного одра их матери. Конечно, это было больно. Вторично обрывалась пуповина. Вторично развязывался узел, которым одно поколение связано с другим. Трое сыновей внезапно ощутили свое одиночество, незнание жизни, обнаружили, что нет больше семейного стола, вокруг которого так хорошо собраться в праздник, нет больше притягательного полюса, объединявшего их всех. А мне в этом разрыве пуповины открывалось и другое — что жизнь может быть дана вторично. В свою очередь, эти сыновья возглавят род, станут центрами притяжения и патриархами, и так будет до того часа, когда и они передадут бразды правления малышам, играющим сейчас во дворе.

Я смотрел на мать, на эту старую крестьянку со спокойным и суровым лицом, на ее сжатые губы, на это лицо, ставшее каменной маской. И я узнавал в нем лица сыновей. Их лица были отлиты по этой маске. Ее тело послужило формой для отливки этих тел — этих прекрасных образцов

мужественности. Но теперь она лежала, подобно треснувшей оболочке, из которой извлекли плод. В свою очередь, сыновья и дочери создадут из своей плоти детенышей человека. На этой ферме не умирали. Мать умерла, да здравствует мать![9]

Да, как горестна и вместе с тем проста картина жизни крестьянских поколений, шагающих от превращения к превращению, к неведомой истине, усеивая свой путь седовласыми покойниками!

Вот почему мне казалось в тот вечер, что похоронный звон в деревне проникнут не отчаянием, а сдержанным ласковым ликованием. Колокол, славивший одним и тем же звоном похороны и крещения, еще раз возвещал о смене поколений. И чувство глубокого умиротворения проникало в сердца всех, кто слышал, как славословят обручение старой крестьянки с землей.

Медленно развиваясь наподобие дерева, жизнь передавалась из поколения в поколение, и не только жизнь, но и сознание. Какая удивительная эволюция! Из расплавленной лавы, из звездного вещества, из чудом возникшей живой клетки

---

[9] Примечания: 9

Намек на традиционную формулу: «Король умер, да здравствует король!» — то есть новый король.

появились мы, л!оди, и мало-помалу достигли в своем развитии того, что можем писать кантаты и взвешивать далекие светила.

Мать передала сыновьям не только жизнь: она научила их языку, она доверила им груз знаний, медленно накопленный в течение веков, духовное наследство, полученное ею самой на хранение от предков, — небольшой надел традиций, понятий и мифов, все то, что отделяет Ньютона или Шекспира от дикого пещерного человека.

Возникающее в нас ощущение голода, того голода, который гнал под обстрелом солдат на занятия по ботанике, голода, гнавшего Мермоза к воздушным просторам Южной Атлантики, а других к поэзии, показывает, что процесс сотворения человека далеко не закончился, — мы должны еще познать самих себя и вселенную. Надо перекинуть мостки через ночь. Этого не хотят знать лишь те, чья мудрость заключается в равнодушии, которое они называют эгоизмом; но эту мудрость опровергает сама жизнь! Товарищи, товарищи мои, призываю вас в свидетели, скажите: когда мы чувствовали себя счастливыми?

4

И вот на последней странице этой книги я снова вспоминаю состарившихся чиновников, — наш кортеж на заре того дня, когда нам посчастливилось получить назначение в первый почтовый рейс и мы готовились превратиться из юнцов в мужей. Эти чиновники были такими же, как и мы, людьми. Но они и не догадывались о своем духовном голоде.

Слишком многим людям дают заснуть!..

Несколько лет тому назад, во время длительной поездки по железной дороге — три дня во власти шума, подобного шуму перекатываемой морем гальки, — я захотел совершить обход своего дома на колесах, в котором был заперт на три дня. Я встал и около часа ночи прошелся из конца в конец по всему поезду. Спальные вагоны были пусты. Вагоны первого класса были пусты.

Но в вагонах третьего класса были сотни выселяемых из Франции польских рабочих, которые возвращались к себе в Польшу. В коридорах мне приходилось перешагивать через тела. Я остановился, наблюдая при свете ночника, я видел в этом вагоне без перегородок, напоминавшем об-

щежитие и пахнувшем казармой или участком, смешение тел, бросаемых из стороны в сторону толчками поезда. Погруженный в тяжелые сновидения, целый народ возвращался к своим горестям и нищете. Большие бритые головы перекатывались по деревянным скамьям. Мужчины, женщины, дети ворочались с боку на бок, как бы осаждаемые всеми шумами, всеми толчками, вторгавшимися угрозой в их забытье. Даже сон не был по отношению к ним гостеприимен. И мне показалось, что, бросаемые из конца в конец Европы экономическими течениями, оторванные от маленьких домишек в департаменте Нор[10], от крошечных садиков, от трех горшков герани, которые я видел когда-то в окнах польских шахтеров, они наполовину утратили человеческий облик. В плохо перевязанные, разлезающиеся узлы им удалось собрать лишь кухонные принадлежности, одеяла и занавески. Все, что было мило их сердцу, все, к чему они привязались за четыре-пять лет пребывания во Франции — кошку, собаку, герань, — все это им пришлось бросить, и они везли с собой только кастрюли.

Мать кормила грудью младенца, она была та-

---

[10] Примечания: 10
Угольный бассейн Франции.

кой усталой, что казалась спящей. В нелепости и хаосе этого переселения жизнь все же переливалась от матери к ребенку. Я отыскал взглядом отца. Тяжелый и голый, как булыжник, череп. Тело, стесненное рабочей одеждой, неловко скрючившееся во сне, будто оно из шишек и вмятин. Человек этот напоминал ком глины. Так по ночам тела бездомных тяжелыми тюками лежат на скамьях центрального рынка. И я подумал: проблема отнюдь не в этой нищете и грязи, не в порождаемом ими уродстве. Но ведь тот же мужчина и та же женщина встретились когда-то, и, наверно, мужчина улыбнулся женщине, должно быть он принес ей после работы цветы. Застенчивый и неловкий, он, должно быть, боялся, что его отвергнут. А женщине, по естественной склонности к кокетству, женщине, уверенной в своей прелести, вероятно было приятно волновать его. И мужчина, превратившийся теперь в машину, чтобы копать киркой или разбивать породу молотом, чувствовал тогда в сердце сладостную тревогу. Какова же тайная сила, превратившая каждого из них в ком глины? В какую ужасную форму их втиснули, отштамповав, как прессом? Стареющее животное сохраняет грацию. Почему же эта прекрасная человеческая глина так ис-

коверкана?

Я продолжал бродить среди этих людей, чей сон был беспокоен, как атмосфера притона. Стоял неясный шум от сиплого храпа, глухих стонов, поскребывания башмаков по дереву, когда люди, разбитые лежанием на одном боку, переворачивались на другой. И в довершение всего — этот непрекращающийся приглушенный гул перекатываемой морем гальки.

Я сажусь напротив какой-то семьи. Ребенок кое-как пристроился между мужчиной и женщиной и спит. Он повернулся во сне, и при свете ночника я увидел его лицо. О! Какое прелестное личико. Эта чета дала жизнь золотистому плоду. Эти груды рухляди произвели на свет чудесное созданье, полное грации и очарования. Я склонился над гладким лбом, над нежной припухлостью губ и подумал: вот лицо музыканта, вот Моцарт-дитя, вот многообещающее творение жизни. Сказочные маленькие принцы ничуть не лучше его; он мог стать кем угодно, если бы его холили, лелеяли, просвещали! Когда в саду удается вывести новую розу, всех садовников охватывает волнение. Розу изолируют, розу окружают заботой, всячески способствуют ее развитию. Но для людей нет садовников. Младенца-Моцарта, как

и других, пропустят через тот же штамповочный пресс. Самой высокой радостью Моцарта станет гнилая музыка в зловонии кафешантана. Моцарт — обречен.

Я вернулся в свой вагон. Я говорил себе: эти люди даже не страдают от своей участи. И не в том вовсе дело, что меня мучает вопрос милосердия. Какой толк в том, чтобы растрогаться при виде незаживающей язвы. Те, кто ею отмечены, ее не ощущают. Весь человеческий род, а не отдельный человек, поражен этой язвой. Нет, не верю я в сострадание. Все это мучает меня, если посмотреть глазами садовника. И не эта нищета меня мучает, с ней люди в конце концов сживаются, как с ленью. На Востоке целые поколения людей живут в грязи и прекрасно чувствуют себя. Меня мучает то, чего не излечит даровая похлебка для бедняков. И не эти вмятины, не эти шишки, не это уродство мучает меня. Меня мучает, что в каждом из них, быть может, убит Моцарт.

И только Дух, коснувшись глины, обращает ее в человека.

INFO

Антуан де Сент-Экзюпери. Земля людей — М.: Гослитиздат, 1957 — 200 с. (Зарубежный роман XX века) 165000 экз.

Антуан де Сент-Экзюпери
ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ

Редактор *Е. Неклюдова*
Художественный редактор *Д. Ермоленко*
Технический редактор *В. Перцов*
Корректор *Т. Лукьянова*

Сдано в набор 10/V-1957 г. Подписано к печати 6/VIII-1957 г. Бумага 84x108 1/32. 6,25 печ. л. = 10,25 усл. печ. л. 10,21 уч. изд. л. Заказ № 2107. Тираж 165 000. Цена 3 р. 25 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической промышленности.

4-я тип. им. Евг. Соколовой.
Ленинград, Измайловский пр., 29.

.....

FB2 — mefysto, 2023